# Волчья яма

# Василь Быков

### 1

Одинокая фигура человека то появлялась, то исчезала в негустом березовом подлеске, среди высоко вознесшихся к небу сосен. Это был молодой парень в замызганном солдатском бушлате, зимней шапке на голове. Из-под распахнутых воротников его одежек выглядывали несколько синих полосок давно не стиранной тельняшки. Исхудавшее мальчишеское лицо выражало крайнюю озабоченность, почти испуг. Солдат шел не спеша, то и дело останавливаясь, иногда меняя направление в лесу, оглядываясь по сторонам.

Сосновый бор между тем полнился густым ветреным шумом, который, порой усиливаясь, заглушал собой все другие, разрозненные звуки леса. Впрочем, солдат уже научился в привычном шуме деревьев различать случайные звуки — хруст сломанной ветром ветки, падение наземь еловой шишки, — шум его не пугал. Хотя под соснами внизу в общем казалось тихо, ветер сюда почти не проникал — опустив к земле разлапистые ветви, тихо стояли угрюмые елки, неподвижно высились зеленые пирамидки можжевельника, порой трепетала лишь свежая листва берез. Земля под деревьями была по-весеннему голой, без травы; местами, набираясь к цветению сил, зеленели лесные ягодники — черничники. На пригорках широко раскинулись серые поросли беломошника, ступать по которому было непривычно мягко, словно по ковру в комнате. Хотя по ковру в сапогах солдат никогда не ходил, единственный ковер в их квартире всегда висел на стене, да и сапог он не носил до службы. А эти как надел — тяжелые кирзачи с негнущимися голенищами, так и не снимал второй год. И в сушь, и в непогоду они были на ногах, неудивительно, что один уже «запросил каши». Хотя что сапоги — начали рваться брюки, прочные армейские «хэбэ» с заплатами спереди и сзади, на правом колене уже появилась дыра. Наверно, в другое время все это причинило бы немало забот солдату, но не теперь. Теперь его донимала иная забота — солдат хотел есть.

Чувство голода и вело его через хвойный пригорок, заставляя обшаривать глазами ветви деревьев, оглядывать землю. В том был его конкретный интерес: под деревьями могли появиться грузди — вчера он нашел их три штуки и съел. Съев, испугался при мысли, что может отравиться и околеть в этой лесной глухомани. Однако обошлось, немного покрутило в животе и перестало, — значит, можно кормиться грибами, подумал солдат, лишь бы их попадалось больше. Еще он надеялся высмотреть в ветвях птичье гнездо. Когда-то в детстве, во время каникул в деревне ребята скинули с дерева маленькое волосяное гнездо, из которого выкатилось четыре серых яичка. Два из них разбились, а два он принес в хату к бабушке, и та разворчалась: зачем побурили птичье жилище, Господь накажет. Тогда он и в самом деле пожалел о глупом ребячьем поступке. Иное дело сейчас, когда давно уже нет бабушки и Бог, похоже, окончательно отступился от него. А главное — он успел убедиться, что голод — действительно не тетка.

Ни грибов на земле, ни птичьих гнезд на деревьях солдату нигде не попадалось. Не видно было и птиц, не слышалось их пения, и солдат подумал, что, возможно, это только в бору. Может, имело смысл поискать в ольшанике на берегу речки. Вчера он недолго бродил там, правда, также с нулевым результатом, но вчера его выгнал оттуда дождь, от которого он укрылся в бору. В который раз за весну бор спасал его от непогоды, давал пристанище на ночь. Но съестного здесь ничего не было. Земля под соснами устлана слоем прелой рыжей хвои, полной лесных насекомых. Ночью, когда он уснул на пригорке, под одежду наползли муравьи, и солдат все утро чесал бока, пытаясь от них избавиться.

Сыроватые ольшаниковые места он недолюбливал и во время лесного блуждания обычно обходил стороной. Куда с большим удовольствием бродил бором, где стройные сосны зачаровывали своей поднебесной высотой, особенно в погожую предвечернюю пору, когда их вершины торжественно сияли в позолоте закатных лучей. А на опушке или где-нибудь на прогалине иногда попадалась старая суковатая сосна, на которую по-ребячьи хотелось взобраться и не слезать до ночи. Впервые в сосновый бор он попал во время учений, сразу по прибытии из «учебки» в полк. Автомашину связи тогда поставили под сплошной хвойный шатер, не потребовалось маскировать ее сетью. Солдат работал на радиостанции и сквозь растворенную дверь три дня и три ночи дышал смолистым запахом бора, слушал пение птиц — особенно во время дежурства ночью. Жаль, учения скоро кончились, а потом началось такое, о чем не хотелось и вспоминать. Да и забыть было невозможно.

Ольшаник над речкой вовсю зеленел сочной весенней листвой; густо и широко разрослись кусты лозняка — влаги было в избытке. Внизу, пробиваясь сквозь сухой прошлогодний бурьян, лезла к свету крапива, топорщились жесткие стебли малины. В зарослях кое-где оставалась приметной заброшенная с прошлых лет стежка. Солдат осторожно пошел по ней, не очень раздумывая куда — стежкой всегда хотелось идти куда-либо. В это время его обостренное голодом обоняние уловило в воздухе горьковатый запах дыма, и солдат остановился. По всей видимости, дым из леса — где-то горел костерок. А может, дым доносился с поля, усомнился солдат. Но поля все-таки далековато, за болотом. Деревни там почти все пожгли, особенно ближайшие к зоне, и в самой зоне тоже. Недавно еще там была проволока на кольях, но проволоку во многих местах посрезали и вывезли, оставшиеся деревни стояли покинутыми и разграбленными. Милиция иногда наскакивала туда на своих «УАЗах», но у милиции вечно не хватало бензина, а главное — кому охота лезть в это атомное пекло? Не хотелось лезть и солдату, но вот влез. Когда его на хуторе едва не накрыла милиция, он не стал искушать судьбу второй раз. Да и хозяин-самосёл сказал: надо тебе уходить, сынок. Солдат не хотел беды ни себе, ни деду и ушел куда глаза глядят.

Глаза и привели его в зону.

Правда, может случиться так, что он сам наказал себя даже строже, чем это сделал бы военный трибунал. Все же зона — не рай, если отсюда всех давно выселили, когда сюда боится заезжать милиция, когда в газетах не перестают писать про цезий да стронций, которыми засыпаны соседние области. Весь мир встревожен. Запад гонит гуманитарную помощь, лекарства, приглашает детей на оздоровление. И это из ближних к зоне сел, а он влез в самую зону. Правда, и он вначале боялся, что заболеет. Но вот пошел второй месяц, и ничего вроде, хотя самочувствие бывало всякое. Да и старый хуторянин Карп никуда не выезжал с хутора и за послеаварийные годы не чувствовал себя хуже. Говорил, может, даже лучше, чем некоторые из молодых. Потому что не пил, день и ночь работал один на немалом хозяйстве. Лошадь, корова с телкой, кабан, десяток куриц да собачка Кудлатик — и все живы-здоровы. Хуторянин Карп своим примером здорово обнадежил солдата, особенно когда сказал, что и по соседству за гравийкой также живут — по вечерам слышно, как лает собака; и за болотом, почти что в зоне, тоже появились самосёлы. Живут без электричества, без магазинов, без партии и без власти. То, что без власти, очень понравилось солдату, так же как хуторянину — жить без колхоза. Никто им не помогает, не проверяет и не мешает — живут как могут.

Может, это и неплохо, думал солдат, может, старики дождались своей поры. А вот молодежь... Даже внуки того же Карпа все поразъехались, на хуторе никого не осталось. Чего-то боятся.

Эти и схожие с ними мысли не первый раз вертелись в замороченной голове. Солдат и боялся и успокаивал себя, рассуждая и так и этак. Но как он мог поступить иначе — без документов, без знакомых и денег? Далеко ли уйдешь пешком, а на первой же автобусной станции тебя схватит милиция, которой развелось словно муравьев в лесу. Дома его никто не ждал, мачеха, если бы дозналась о нем, тотчас побежала бы в военкомат или в милицию — только и ждала случая, чтобы засадить его. Друзья? После того, что случилось, какие могли быть друзья?..

Полузаросшей тропинкой в кустарнике солдат прошел вдоль речки, осторожно выглянул из-за куста на берег. Всюду было пусто, да и дымом вроде перестало пахнуть, может, переменился ветер? И он снова повернул от речки под сосны, взобравшись на пригорок, опустился на толстую подушку мха. Было тепло, даже припаривало. Свой замызганный бушлат он никогда не снимал, спал не раздеваясь. Тут на него сразу набросились муравьи, забегали по истертым голенищам сапог, — где-то поблизости, наверно, муравейник, и солдат подумал, что муравьи — точно солдаты в их роте. И гляди, никакая радиация их не берет, приспособились за миллионы лет. Вот если бы так человек! Но человек, пожалуй, так никогда не сможет — не тот организм. Хорошо это или плохо, солдат не знал. Может, и хорошо, думал он, иначе человек может превратиться в муравья. А если не приспособится и отбросит копыта? Вон мамонты не приспособились и все повымерли. Теперь их кости выкапывают из вечной мерзлоты. Может, такая судьба ждет и людей.

Но мамонты не сами себя погубили — их погубило какое-то изменение природных условий. А человек? Сам — себя.

Дал Бог человеку разум — на собственную погибель.

Как только солдат переставал думать про пищу, его сразу одолевала дрема. Однако днем спать он не решался. Хотя тут, в лесу, никого еще не встречал. Сперва это обстоятельство обнадеживало, но потом стало пугать, казалось: напрасно он прибежал сюда. Все-таки люди чувствовали опасность и старались держаться от зоны подальше. Опять же одиночество чем дальше, тем больше угнетало солдата. Порой становилось невтерпеж. Но что делать? Убеждал себя, что иначе нельзя, что очутился он здесь не по своей воле, что лучше быть одному. Но, пожалуй, и одному становилось невозможно — не терпела душа.

Недолго полежав на пригреве, солдат снова учуял дым и не на шутку встревожился. Быстро подхватился и стал пробираться к речке. Показалось, дымом несло оттуда.

Где стежкой, а где напрямик через кустарник солдат выбрался на неширокую прибрежную лужайку, обошел ее краем ольшаника. К речке подступал обрывистый берег с соснами, и он пошел над обрывом, чтобы видеть реку. Еще издали на речном повороте заметил какое-то укрытие в обрыве — темный лаз в землянку — нору, прикрытую сверху палками. На конце одной из них моталась на ветру забытая тряпка, а поодаль, на самом берегу у воды лениво тлел костерок, дым от которого, наверно, и потревожил солдата.

Тут же на берегу он увидел человека.

Это был рослый мужик в распахнутой телогрейке, с шапкой на голове. Взмахнув над собой белым, наверно, самодельным удилищем, он на несколько секунд замер, а затем точным движением выбросил на берег рыбину. Рыба, как показалось издали, была не из мелких, наверно, не какая-нибудь уклейка. В тот момент человек тоже увидел солдата, которому, пожалуй, следовало смываться отсюда, но выуженная из речки рыбина словно загипнотизировала изголодавшегося парня, и он не спеша шел по берегу.

— Здравствуйте...

Рыбак не ответил, но и не наклонился за рыбиной, которая продолжала биться в траве. Вглядываясь в незнакомца, он изучал его, не зная, как отнестись к его появлению здесь.

— Лещ? — спросил солдат, чтобы не молчать.

— Подлещик, — скупо отозвался рыбак и решительно вскинул на гостя обросшее многодневной щетиной лицо. — А ты откуда тут взялся?

— Все оттуда же, — неопределенно ответил солдат и не в лад с прежней опаской беззаботно опустился на траву. Человек еще всматривался в него и спросил:

— А ты это — не из милиции?

— Из армии.

— Демобилизованный?

— Дезертир я, — сказал солдат и съежился. Никогда еще он не произносил этого слова, которое само сорвалось сейчас с языка.

Рыбак искренне удивился:

— Дела! Впервой вижу дезертира...

Он снял с крючка еще трепетавшего в руках подлещика, бросил на траву, где, как заметил солдат, уже лежало несколько ранее выловленных рыбин. Человек разговаривал громко, видно, чтобы показаться суровым, но солдат сразу почувствовал, что характером он вовсе не так строг, как хотел казаться.

— А дайте я, — вдруг попросил солдат, как только рыбак оснастил крючок новым белым червяком. Несколько помедлив, рыбак нерешительно протянул шершавое ореховое удилище.

— На. Коли умеешь.

— Когда-то ловил...

Человек отошел повыше и сел на берегу.

У солдата сразу клюнуло, и еще через две поклевки он выбросил на берег такого же подлещика. Поднявшись, рыбак снял с крючка рыбину, переставил ближе к солдату берестяной кулек с червяками.

За короткое время солдат вытащил еще трех подлещиков, и рыбак оживился:

— Ну, дезертир, оказывается, рыбацкое счастье у тебя! Я тут с утра — и три штуки. А ты за пятнадцать минут — четыре. Ну-ну! Лови больше.

Солдат сам удивился своей удаче. В детстве, случалось, ловил самое, может, большее пять-шесть плотвичек за день, а тут действительно повезло. Минут десять спустя он снял с крючка еще небольшого окунька. Но потом у рыбы, наверно, наступил перерыв, и сколько он ни бросал поплавок в прежнее и в иные места — ничего не взялось.

— Ладно! — сказал рыбак. — Придется эту пожарить.

Солдат невольно проглотил слюну и напомнил:

— А радиация?

— Хрен с ней, с радиацией! Вкусней будет. — Рыбак впервые дружески засмеялся, обнажив щербатую челюсть. Солдат с любопытством разглядывал его густо обросшее лицо, — человек был не стар, хотя и заметно помят жизнью, может, даже болен. Собрав в короткую полу телогрейки улов, он понес его к костерку, дым от которого продолжал тихо куриться над берегом. Солдат побрел следом, чувствуя и свое право на часть их общего улова.

— Спичек нету? — спросил на ходу рыбак.

— Нет.

— Это хуже. У меня тоже кончились. Так что — дуй за дровами.

Рыбак принялся разгребать угли в костерке, а солдат взобрался на невысокий обрыв и пошел в бор. Поблизости сушняка оказалось мало, пришлось пройти дальше, в молодой сосняк. Похоже, он был доволен неожиданной встречей, которая поможет ему утолить многодневный голод.

Спустя полчаса солдат приволок тяжелую охапку сушняка, бросил возле костра. Старательно перемешивая угли, рыбак пек рыб. Оба сосредоточенно молчали, напряженно дожидаясь вожделенного ужина. Однако ужин задержался, углей было маловато, и рыбак подложил в костер сушняка.

— Давно тут? — спросил он, когда костер стал разгораться.

— Второй месяц, — ответил солдат, и рыбак внимательно посмотрел на парня.

— Не скрутило тебя?

— Пока вроде нет.

— Тогда и не скрутит, — обнадежил рыбак. — Если за месяц не одолела, то и не одолеет. Она не каждого берет.

— Кто знает, — тихо сказал солдат.

— Я знаю. Я здесь три месяца околачиваюсь, и ни черта. Закаленный организм.

— Как же вы его закалили?

— Просто: водку пил. Так что меня никакая холера не возьмет. Ты тоже, парень, не трусь, держи хвост пистолетом.

Солдат не возражал, хотя и не спешил соглашаться, только удивился самонадеянности человека. Сам он выпил водки не много, поэтому не чувствовал себя хоть сколько-нибудь закаленным.

Они сидели так, больше молча, возле припекавшего костерка, который то вспыхивал шустрыми языками пламени, то начинал дымить, безбожно окуривая их лица. Солдат с непривычки отворачивался, рыбак же, почти не реагируя на дым, тщательно загребал в угли восемь рыбин.

— Эта уже скоро готова. Положим ее сюда, а эту — поближе к огню. Вот так...

Наконец он выгреб одну и, обжигая пальцы, торопливо отер с нее пепел.

— Ну во! Правда, сыровата, холера. Но есть можно...

Выхватил еще одну, но, не удержав, уронил на траву.

— Эта твоя. Угощайся.

Рыбина оказалась слишком горячей, чтобы удержать ее в руках, солдат, не поднимая, очистил на траве налипшую по бокам золу и стал отделять костистые кусочки. В общем, было вкусно, но мало, и рыбак сказал:

— Бери еще одну. Остальное на завтра.

«Что ж, и за то спасибо», — подумал солдат, втайне надеясь, однако, на иную дележку. Но рыбак и сам съел только две рыбины и задумчиво помедлил, что-то решая.

— Ладно, еще по одной. Остальное — утром.

Съели еще по одной, но все равно не наелись. В золе остались три последние, и рыбак принял неизбежное решение:

— А, черт с ними! Что оставлять! Еще до утра не доживешь — радиация!

Именно этого и дожидался солдат. Правда, упоминание о радиации укололо — значит, не так уж застрахован от нее и рыбак. А тот по-хозяйски сгреб в кучу угли, побросал в костер недогоревшие концы сушняка.

— Ты заночуешь или пойдешь? — спросил он просто, как давнишний знакомый. — Хотя куда тебе идти, если дезертир.

— Заночую.

— Правильно. Будем на пару поддерживать огонь. Не дай бог, потухнет, понял?

— Так точно.

Кажется, солдат был доволен и даже припомнил книжку, читанную в школе, которая называлась «Борьба за огонь». Он забыл фамилию автора, но помнил события, происходившие в первобытном племени, потерявшем огонь. Похоже, к ним возвращалась давняя забота. Но все же он был не один, кажется, его одиночество кончилось.

— Тебя как зовут? — подобревшим голосом тихо спросил рыбак.

— Да солдат просто, — ответил парень, которому вовсе не хотелось называть свое имя, хоть и врать он также не имел желания.

— Ну а я бомж просто, — в тон ему сказал рыбак и засмеялся. — Так что два сапога — пара.

«Что ж, — невесело подумал солдат, — действительно подобралась пара — бомж с дезертиром. Интересно, что из этого получится».

— Такие дела! — неопределенно произнес бомж и вытянулся на траве. Из распахнувшейся его телогрейки с торчащими в дырах клочками ваты выглянул худой, запавший живот, покрытый россыпью синеватых болячек. Солдат отвел глаза, подумав, что и у него тело, наверно, не лучше, столько недель без мытья. Полежав немного, бомж поднялся, сел на траве.

— Не поели, а аппетит раздразнили... Знаешь, солдат, бери ты уду и побросай. Может, еще что попадется.

Солдат послушно поднялся, взял не очень удобное, самодельное удилище с леской и пошел на прежнее место, где недавно еще клевало.

— И гляди мне крючок! — крикнул вдогонку бомж. — Потеряешь — голову оторву.

— Ладно...

Весь остаток дня он бросал в тихую воду небольшой излучины вырезанный из сосновой коры поплавок, и все напрасно — клева не было. Потом перешел на другое место — подальше, за камыши. Но и там ни разу не клюнуло. Погода тем временем становилась все лучше, было тепло, над водой вились клубки мошкары. Ветер почти унялся. Речная излучина, будто тусклое зеркало, подробно отражала неяркую прелесть лесного берега с ольшаником, низко нависшими над водой кустами лозняка. Под ними в водяных сумерках наверняка есть рыба, подумал солдат, может, даже лещи, но как перебраться туда? Вокруг было тихо и покойно и уже не верилось в угрозу, которая нависла над землей, которой все так боялись. Может, напрасно? Может, этот страх преувеличен? Живет же возле речки бомж, вроде здоров и даже похваляется своей закалкой. «А может, он так, чтобы не думать о худшем, подбодрить себя, а заодно и меня тоже», — думал солдат.

Прежде чем солнце скрылось за вершинами сосен, он выбросил на берег шустрого крохотного окунька — и все. Больше до сумерек ничего не взялось. На воде уже трудно стало различить неподвижный поплавок, и солдат смотал удочку.

— Ну-у, а я думал... — разочарованно встретил его возле костра бомж. — Значит, такое и твое счастье тоже.

— Клёва не было.

— Оно как когда. Как-то за утро я выудил шесть штук. А потом два дня ни одной. Просто зло берет, да и жрать хочется.

— Больше здесь ничего? — спросил солдат, имея в виду пищу.

— А что же еще? Грибам рано. Ягод нет. Людей отселили. Что беглым бомжам остается?

Да, наверно, не много остается беглым бомжам, согласно кивнул солдат. Но что можно предпринять, чтобы раздобыть пищу, он не знал. По всей видимости, не знал этого и бомж.

— Тут, знаешь, такое дело: меньше есть будешь — дольше проживешь, — не понять, всерьез или в шутку сказал он. — Меньше радиации употребишь. Так что бомжам голод полезен.

Пожалуй, с этим солдат не мог согласиться. Он наголодался достаточно, но сил у него от этого не прибавилось, скорее наоборот. Все время в лесу он думал, где бы раздобыть поесть, и только тут у речки появилась такая возможность.

Уже в сумерках бомж поднял удилище и отвязал от лески крючок, который аккуратно прицепил к подкладке телогрейки.

— Надо беречь, а то... Спать хочешь?

— Не очень, — ответил солдат.

— Тогда покарауль огонь. А я кемарну пару часиков.

Зевнув, он на четвереньках забрался в свою землянку-нору в обрыве. Солдат остался возле костра.

Помалу подкладывая в огонь сухие еловые палки, он сонно следил, как их постепенно слизывали до черноты жадные языки пламени. Источив на угли дерево, они и сами опадали, готовые вот-вот исчезнуть, — тогда следовало подложить несколько новых палок, чтобы не извести огонь. Вокруг лежала ночная темень, в которой едва просвечивало тусклое пятно речной излучины; рядом неровно горбился невысокий песчаный обрыв с черной норой. Бор почти перестал шуметь, вокруг царило ночное безмолвие.

К солдату вернулось привычное чувство одиночества, и он стал думать-рассуждать о своем незавидном положении. Впрочем, думал он об этом всегда, словно стараясь что-то решить или что-то понять. Но ни того ни другого до конца не удавалось, он не мог выбраться из той роковой безысходности, в которую его загнала жизнь. Или, возможно, загнал себя сам. Давно поняв цену физической силы, он обнаружил в себе ее недостаток, и это стало причиной его многих бед. Так случилось, что почти все дворовые ребята были старше его и потому сильнее, а он оказался в незавидном положении слабака. Несомненно, у него имелись другие достоинства — он неплохо учился и никому не уступал умом, но это мало что значило перед решающим фактором силы. Если требовалось куда-нибудь сбегать, посылали его, потому что он младше других, если старшим приходило в голову над кем-нибудь поизгаляться, выбирали его. Если у него появлялся ножик, запросто можно было отнять или попросить посмотреть и не отдать. Все знали, что он жаловаться не побежит, потому что у него нет отца. А потом не стало и матери.

Детство — вообще малоприятная штука, солдат в этом убедился давно. Особенно если потеряешь родителей и окажешься на содержании престарелой бабушки. И все-таки он держался, он хотел учиться, была давняя мечта — институт иностранных языков. Английский язык, французский — безразлично, лишь бы уехать. Куда? Все равно куда, только бы выбраться из постылого «поселка городского типа», где после смерти бабушки его никто не любил и он никого не любил тоже. Но в институте он срезался на первом же экзамене — сочинении на тему «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть» и скоро очутился в армии.

«Учебка» запомнилась ему непрекращающимся годичным кошмаром, муштрой и гнетом, когда невозможно было понять, для чего вся эта формалистика, для какой надобности. Логика воинских уставов угнетала своей алогичностью, бессмысленность военных порядков отупляла чувства, на занятиях в классах и на плацу он вроде бы отсутствовал и всегда хотел спать.

Оказавшись после «учебки» в полку, он надеялся, что тут многое будет иначе, что тут — порядочные молодые офицеры, воспитатели и защитники солдат. Но скоро понял, что ошибся: офицеры жили собственной жизнью, зачастую далекой от скрытной жизни солдат. В казарменной толчее, в свободное вечернее время царили иные порядки, чем те, которые предписывались в уставах и были развешаны на стенах ленинской комнаты. Как-то перед вечерней поверкой сержант Дробышев уронил под койку футляр от зубной щетки и обернулся к солдату: «А ну подними»« Вместо того чтобы беспрекословно исполнить приказ, тот коротко бросил: «Сам подними» и тут же полетел в проход от неожиданного удара в лицо. Он не догадался, что сержант умышленно уронил футляр, чтобы заставить его поднять, и эта недогадливость стоила ему багрового фонаря под глазом. На следующий день во время построения на развод командир роты с притворным недоумением поинтересовался: «Что это у тебя?» В строю все напряженно замерли в ожидании его ответа, и он, несколько помедлив, сказал, что упал. «Надо смотреть под ноги», — глубокомысленно заметил ротный. А в отдалении из первой шеренги зло щурился, глядя на него, сержант Дробышев. Солдат решил тогда, что, наверно, поступил правильно, не сказав ротному правды. Но уже на следующий день он в том усомнился. В курилке, где он только присел с ребятами, появился Дробышев и молча двинул ему кулаком под дых — почему не встаешь, когда старший входит? Скорчившись от боли, солдат потащился в казарму, в то время как другие молча и безучастно глядели ему вслед. Никто не вступился, будто так и надлежало поступать с молодыми.

Еще хуже стало в начале весны, когда старшиной роты назначили прапорщика Зеленко. Этот взял за обычай после отбоя кучковаться с друзьями в каптерке, где они выпивали. Иногда кого-либо поднимали в казарме и также вели в каптерку. Как-то после полуночи оттуда вышел с потным раскрасневшимся лицом (может, даже заплаканным) его земляк Петюхов, молча лег на койку и укрылся с головой одеялом. «Что они там?» — но земляк не ответил, лишь вздрагивал от плача. Солдат уже догадывался, что там происходило, молчал, чувствуя, что, пожалуй, дойдет и до него очередь. Правда, пока не доходила, и парень в тревоге ждал, когда это случится. Несколько раз он замечал, как под утро из каптерки выходил явно пьяноватый Дробышев, торопливо раздевался и ложился в аккуратно разостланную для него койку. Однажды, ложась, Дробышев вынул из кармана брюк финку, которую, оглянувшись, сунул себе под матрац. Уж не намеревается ли кого-нибудь зарезать, засыпая, подумал солдат.

...Через несколько дней они, усталые, вернулись из наряда, и только солдат уснул после отбоя, как сразу проснулся от сильного удара в бок — над ним в проходе стоял мордатый радист Подобед. «До прапора», — проворчал он, и парень понял, что его звали в каптерку. После другого такого же тумака вынужден был встать, начал натягивать брюки, потом сапоги. «Босой», — просипел Подобед, и он, помедлив, босой потащился по проходу в каптерку.

Там, еще сонного, с замутненным от страха сознанием, его нагло изнасиловал на полу все тот же ненавистный ему сержант Дробышев; Подобед и Зеленко держали. Истерзанный и униженный, как и недавно его земляк Петюхов, он добрел до своей койки и лег. Но не полез под одеяло, даже не закрыл глаза, а лежал, дожидаясь своего часа. Вокруг в ночном полумраке казармы сопели, ворочались, бормотали во сне, никому не было дела до того, что происходило за стеной в каптерке.

### 2

Спустя час или больше к своей койке тихо, словно крадучись, подошел наконец и Дробышев, разделся и лег. Еще через недолгое время послышался его негромкий храп, сержант спал. Солдат поднялся, оделся, аккуратно навернул портянки, натянул сапоги. Все делал не торопясь, основательно, будто тянул время. Оставалось надеть бушлат, но бушлат вместе с другими висел возле тумбочки дневального, который там пристроился кемарнуть в этот глухой час ночи. Виктор подошел к сонному сержанту, осторожно засунул руку под его матрац. Нащупав финку, без размаха, но с необычной для него силой вогнал ее по самую рукоятку в левый бок Дробышева. Тот лишь громче всхрапнул и, не просыпаясь, обвял в койке.

Едва держась на ослабевших ногах, солдат снял с крючка свой бушлат и, на ходу надевая его, выскочил в коридор.

— Куда? — сонно окликнул дневальный.

— Живот, — бросил солдат, закрывая дверь.

Он не побежал на проходную — знал, за уборной в ограде был тесный лаз, через который сержанты ходили в самоволку. Минуту спустя он очутился по другую сторону ограды и, тяжело дыша, побежал к недалекой городской окраине...

Бомж, как и обещал, спал недолго и, не дождавшись утра, задом выбрался из своей норы.

Была безлунная ночь, над речкой, клубясь, плыло белесое облако тумана. Бомжа сразу охватил сырой холод, содрогаясь, он подошел к костерку, где, воткнув голову в колени, дремал солдат.

— О, гляди, затухает, подложить надо...

Бомж бросил в костер несколько палок, от которых слабый огонь и вовсе готов был потухнуть, но потом, словно одумавшись, стал разгораться. На пустынном берегу посветлело, из темноты проступило неровное очертание близкого обрыва и над ним — высокая, сплошная стена бора.

— Иди в землянку, — сказал бомж сонному солдату. — Там дерюжка, укроешься.

Солдат молча поднялся, но не полез в нору, а свернулся рядом и скоро уснул. Никаких снов не видел и проснулся на рассвете от холода. Ночью возле реки было холоднее, чем в лесной хвойной чаще, где он ночевал прежде. То и дело вздрагивая в ознобе, парень подался к костерку, возле которого в предрассветных сумерках серела одинокая тень бомжа.

— Что не спится? А, холодно. Ну это с непривычки. Наверно, от мамки недавно? — хрипловатым с утра голосом заговорил бомж.

Солдат не ответил, — он не любил развязных разговоров, тем более со старшими.

— Туман, — произнес он, оглядываясь на реку, и протянул к костру озябшие руки.

— Туман, — подтвердил бомж. — А жрать все равно хочется. Бери уду и побросай. Утречком, может, что и возьмется.

Он пристроил к леске свой береженый крючок, и солдат пошел в тростниковую излучину.

Стало теплее, он бросал в тихую воду поплавок и ждал, ждал, что вот-вот клюнет. Но пока не клевало. На тихой речной воде, расходясь, исчезали широкие круги, а он все ждал, когда поплавок вздрогнет — раз и другой, — давая тем знать, что начался клёв. Или, возможно, уже кто-то взялся — лещ, подлещик или хотя бы мелкая плотвичка. Но шло время, поплавок неподвижно лежал на воде, клёва не было. Тем временем небо над лесом прояснилось, начинался новый погожий день.

Возможно, следует поменять наживку. Белые черви из-под еловой коры, наверно, не самый лучший для рыбы корм, надо поискать обычных дождевых червей.

Положив удилище концом в воду, солдат прошел по берегу, высматривая подходящее место. Найдя влажную низинку, стал короткой палкой ковырять землю. Но червей не было. Вместо них ему скоро попалось какое-то странное земляное существо, лишь отдаленно напоминавшее червя. Это был длинный, оранжевого цвета уж в палец толщиной, который кольцами извивался у его ног. Не радиация ли создала такого, испугался парень. Кому радиация — погибель, а кому — на благо. Если бы так человеку... Преодолевая брезгливость, наступил на ужа каблуком и палкой отбросил подальше в воду. Потом еще поковырялся в земле в поисках нормальных червей. Но нормальные тут, по-видимому, вывелись, может, истребленные этим мутантом, с тревогой размышлял солдат. Хотя все естественно, все по законам природы — сильный пожирает слабого. Как и среди людей.

Ни с чем парень возвратился к удочке, поплавок которой почему-то замер у самого берега. Почуяв неладное, он вытянул из воды удилище и не на шутку испугался — крючка не было. От поплавка свисал короткий конец лески, крючок оказался сорванным. Но кто же его сорвал? Чтобы сорвать, следовало дернуть, но он же не дергал. Он вообще не трогал удилища. Значит, кто-то откусил. Но кто мог откусить в реке? Долго, однако, не раздумывая, парень сбросил сапоги, подвернул брюки и полез в воду. Он старательно обшарил тростник на отмели, зеленые травяные водоросли в глубине, насколько мог до них дотянуться. Глубже, правда, ничего не было видно, мутноватая вода едва заметно струилась в одну сторону — все к тому же Чернобылю. Хорошо еще, что не от Чернобыля, хотя оттого стало не легче. Крючка нигде не было.

— Что, оторвал? — крикнул сзади бомж, подойдя по берегу.

— Да вот нету...

— Я же тебе говорил... Теперь голову твою оторву, — пригрозил бомж и тоже стал разуваться.

Солдат виновато молчал, он ждал выволочки, но на большее злости у бомжа не хватило. Минуту спустя они оба, по пояс в мутной воде, ощупывали дно ногами, шарили в камыше. Взбаламученная ими вода не давала ничего рассмотреть в глубине, муть постепенно сгоняло ленивым течением, — а с течением могла уплыть и леска с крючком. Бомж выругался, видно стараясь подавить чувство досады. В самом деле, было от чего досадовать. Наконец оба озябли, устали и выбрались из воды на берег.

— А может, и к лучшему, — вдруг улыбнулся бомж. — Меньше радиации сожрем.

Солдат не ответил — он не принимал таких шуток. Если не жрать радиации, что же тогда здесь жрать вообще?

Все время ощущая, как сосет под ложечкой, он отошел от костра и, не снимая подмоченный бушлат, вытянулся на траве. Туман с реки уже сплыл, стало теплее; по небу гуляли белые облачка, обещая погожий день. Но небо не обещало пищи, которую надлежало добывать самим. Только где и как?

Еще до того, как попасть на хутор, он бродил в окрестностях зоны и однажды на опушке леса вышел к автобусной остановке. Как раз подкатил автобус, из которого сошли несколько пассажиров и торопливо направились в сторону недалекой деревни. Лишь одна из них — по виду немолодая деревенская тетечка — что-то замешкалась, положила наземь свою котомку. Стоя за кустом в двадцати шагах от нее, голодный солдат наблюдал, как тетка достала из котомки белый городской батон, отломала от него кусок. Он смотрел и думал: неужто она начнет есть — у него на глазах? У парня от голода кружилась голова, и он боялся не совладать с собой. Но тетка не видела солдата и в самом деле принялась уплетать батон. Теряя самообладание, он вышел из кустов и, стараясь как можно спокойнее, сказал тихо: «Не пугайтесь, тетечка, я...»

В этом была его ошибка, как он потом понял — не следовало обращаться к ней так напряженно-трагически, надо было полегче, может, даже шутливо. Но он ни бодро, ни шутливо не мог. Его слова испугали женщину, она вскрикнула и, подхватив пожитки, припустила по стежке к деревне.

И в том и в ряде других случаев было разумнее вести себя легче, без надрыва. Да и во всей той истории тоже. Ну, случилось, виноват, накажите. Может, как-нибудь утряслось бы...

Может, и утряслось бы прежде, но не теперь. Теперь он слишком задержался в зоне. Хотя где же еще он мог задержаться?

Он охотно остался бы на хуторе у деда. Дед был не из болтливых, о себе не распространялся и его ни о чем не расспрашивал. Когда в дождливый ненастный вечер солдат постучался к нему, дед сразу впустил, наверно, что-то поняв с первого взгляда, и не пришлось ни о чем рассказывать. Главное, не пришлось врать, чего он не переносил с детства. К сожалению, не всегда удавалось обходиться правдой, иногда вынужден был и соврать. Но всякий раз потом чувствовал себя неважно и думал: лучше не надо. Лучше по правде. Хотя по правде было труднее и даже не всегда безопасно.

Кажется, он снова заснул — добирал недоспанное ночью время, но вдруг испуганный проснулся от близких торопливых шагов. Откуда-то появился бомж — босиком, без шапки, в высоко, выше колен, подвернутых брюках.

— Вставай, солдат! И дуй за дровами. Будем жаб жарить!

— Жаб?

— А ты думал! Вкуснятина, я уже ел. — И бомж вывалил из шапки десяток разного размера лягушек. Некоторые сразу бросились наутек, и бомж босой пяткой решительно прекращал их самовольное бегство.

— Куда? Куда скачешь, я те дам удирать! Знаешь, — обратился он к парню, — может, это и хорошо: все-таки у жаб радиации меньше. Жабы ведь местные, не из Чернобыля. А рыба черт ее знает откуда плывет. Не спросишь, так ведь?

Слабое это утешение, однако, не очень убедило солдата, который без большой охоты полез на обрыв — в лес за дровами.

Бомж не врал — он действительно ел лягушек, правда, не тут, в зоне, а прошлым летом под Минском, когда они вдвоем с товарищем самовольно оккупировали чью-то дачу. Правда, тогда у них была бутылка, с которой всё и всегда вкуснее. Трущ, недавний доцент и бомж, подал пример этой изысканной закуси. Он же сообщил, что где-то под Полоцком местный рыбхоз заключил договор с французской фирмой на поставку таких вот лягушек, и весной их коробами возили в Париж на специально зафрахтованном для этого самолете. Французы неплохо платили валютой, на которую начальник рыбхоза построил коттедж у озера и купил «Пежо». Коттедж, правда, вскоре сгорел, а что стало с «Пежо», доцент не помнил. Может, правда, а может, и разговоры, полагал бомж, но им выбирать не пристало. В самом деле, есть очень хотелось. Как и всегда.

Сдерживая чувство брезгливости, бомж ножиком выпотрошил десяток лягушек, разложил их на траве рядком. Некоторые еще дергали лапками, но большинство лежало спокойно. Солдат приволок охапку сушняка, они раскочегарили яркий костер и, когда раскалились угли, бросили на них плосковатые жабьи тушки. Погодя от углей пошел, в общем, даже приятный запах — лягушки начали жариться.

— Хочешь жить — умей падлу жрать! — щурясь от дыма, изрек бомж. — Девиз советских бомжей.

— А не отравишься? — усомнился солдат.

— Радиация не даст, — заверил бомж. — Она сама кого хошь отравит. — И засмеялся мелко, прерывисто.

Солдат понял шутку, от которой ему не стало веселее. Как и всегда, ощущал себя подавленным, мало склонным к беззаботному общению. Это, наверно, заметил бомж и постарался его утешить.

— Ты это — не кисни! Молодой еще, веселее надо. Молодые неприятности — тьфу, пылинки в жизни. Через полгода и не вспомнишь. Другие накатятся, похлеще прежних.

Он засмеялся собственному остроумию, которое, однако, не мог оценить солдат. Остроумие, как и юмор, теперь его мало трогало, гораздо больше занимали заботы — как жить?

— Тут такое дело, — серьезно заметил бомж. — Еще неизвестно, кому повезет больше — нам в зоне или им там на чистой земле.

— Вряд ли нам, — тихо возразил солдат.

— А вот и не вряд, — приготовился спорить бомж. — Вот посуди. Мы тут сидим на никчемной земле, рядом никаких баз, всё уже вывезли. А там вокруг — база на базе. Ну, сообрази, по кому лупанут в первую очередь? По ним или по нас?

— По всем вместе, — сказал солдат.

— А вот и неправильно. Все-таки ты солдат, да еще дезертир, наверно, слабо в политике петришь. А я кадровый офицер, двадцать лет отгрохал, в том числе шесть — в ракетных войсках стратегического назначения. Понял?

Что было понимать — и дураку ясно. Здесь этих баз столько, что промаха быть не может. Даже теоретически. Да и Чернобыль — не пустырь, там тоже остались реакторы, значит — цель, и вся зона окажется под обстрелом. Но солдат не хотел ни спорить с этим человеком, ни даже обсуждать с ним вполне злободневную проблему, — ему хватало своих проблем.

Они стали есть поджаренных лягушек, выбирая из них тонкие косточки. Лягушки в общем были мелковатой породы, разумеется, оба не наелись, разве что раздразнили свой хронический голод, и бомж объявил:

— Здорово, да мало! Знаешь, давай ты — по дрова, а я опять в болото. Уж я их наловлю...

Так и сделали, — солдат полез на обрыв — в бор за дровами, а бомж, заметно прихрамывая, пошел берегом речки к недалекому болоту.

Солдат ходил долго, забрел далеко. Лес был красив какой-то своеобразной трагической красотой. Сосны с тихим шумом едва шевелили верхушками, в совершенном безветрии стояли под ними березы, словно не понимая, где им пришлось расти. Местами на солнечных полянах высоко вымахала какая-то невиданная трава — вроде ржи с метелками вместо колосьев; никто ее тут не топтал, не косил. Почему-то вовсе не видать было птиц, даже ворон. Однажды высоко над соснами покружил в небе лесной канюк и торопливо улетел куда-то на запад. Что-то ему тут не нравилось. Хотя известно что... Куда же влез он, рядовой ракетного дивизиона, что его тут ждало? — сокрушенно думал солдат.

### 3

Конечно, здесь он не один, теперь их двое. Но бомжу что, бомж свое, наверно, отжил, водки попил. Да и женщин познал... А солдат не успел даже кого-нибудь полюбить, только намеревался. В школе с восьмого класса очень нравилась ему одна черненькая веселушка Симакова Тоня. Однажды написал ей записку, что любит, и к началу занятий положил в Тонину парту. Все перемены ни живой ни мертвый следил за выражением ее лица, на котором, однако, не было ничего, кроме обычной ее дурашливости. Потом подкараулил на дороге из туалета и, ничего не говоря, уставился на нее идиотским взглядом. Она вскинула свои черные бровки, бросила «дурак» и побежала в класс. После уроков нашел в глубине ее парты свою непрочитанную записку и разорвал ее в клочья. Так и окончилась, не начавшись, его глупая любовь.

На исходе дня, когда они слегка утолили свой голод и праздно сидели на берегу, бомж спросил:

— Слушай, а чего ты драпанул из армии?

— Было чего, — тихо ответил солдат.

— Что — командиры доняли?

— Доняли...

Он не хотел рассказывать о том, что с ним случилось, — не смел об этом даже думать. Бомж не стал расспрашивать. Все-таки он был человеком, не лишенным деликатности, и предпочел углубиться в свои воспоминания.

— Знаешь, а я вот хотел служить. Ну, не так чтоб служить там кому, — любил работать. Я же по технической части офицер, технику обожал. Интересное дело — техника.

— Смотря какая, — сказал солдат, припомнив свой агрегат связи, с которым у них было столько мороки.

— Автомобильная...

— Ну автомобильная, может, и ничего. Если исправная.

— Исправное все хорошо, даже человек. Но чтобы исправить, надо талант иметь. Я, знаешь, имел.

Сейчас начнет похваляться своим талантом, решил солдат. Он уже встречал таких людей, влюбленных в собственный талант, а по существу — в самих себя. Слушать их иногда было интересно, но верить им можно было с натяжкой.

— Знаешь, за двадцать лет я перебрал столько автотехники: «ГАЗы», «МАЗы», «КрАЗы»...

— Ну и которые лучше? — глядя в реку, спрашивал солдат.

— Если откровенно — все говно.

— Это почему же?

— Потому что не умеют делать. Тем более что можно делать и плохо — сойдет. Такая наша промышленность. Разве вот, например, каким должен быть дизель?

— А каким?

— А как на Западе. Мы же на курсах изучали их технику. Так наша от ихней — как земля от неба. Даже передрать по-людски не умеют. Обязательно испаскудят. Как те «Жигули». Передрали у итальянцев да испаскудили. Первая модель еще куда ни шло. А потом все хуже и хуже. Теперь хоть новый завод открывай. А что с этим делать? Автомобиль требует точности, как часовой механизм. Его напильником не усовершенствуешь.

— Однако же ездят.

— На чем-то надо же ездить. «Москвич» еще хуже. «Запорожец», ну это чудо советской техники...

— А вот эти, что руду возят? В этаж высотой?

— «МАЗы», «БелАЗы»!.. Основные наши ракетовозы. Намучился я с ними под завязку. На Севере... Они хороши только в боксах. Колеса побелены, бамперы выровнены, все блестит — полный ажур. У кого ровнее, тот и передовой командир. Как заправка коек. Вас же, наверно, здорово жучили на заправке коек?

— Ага, всю дорогу, — повеселел солдат.

— И еще строевая. И политзанятия — эта обедня без попа. С замполитом.

— Теперь уже с попом, — добавил солдат.

— Ну потеха! — ерзал на земле бомж. — Ну дожилась непобедимая армия! Хорошо, что я в ней не служу. Отслужил свое. Нет, я любил технику. Если где какая неисправность, начальство нервничает, крики, мат... А мне интересно: в чем дело? Какой-нибудь стук в двигателе, а вот пойми: где? Стуки, они хитрая штука, на слух ни черта не поймешь. Тут инстинкт нужен. Бывает, дзынкает в одном месте, а причина в другом. Или с той же электротехникой. Знаешь, мне и теперь иногда двигатели снятся. А тебе что снится, девки? — вдруг заинтересовался бомж.

— Мне? Ничего.

— Плохо. Значит, у тебя глухая психика.

— Оглохла...

— Может, оглохла, а может, такой родилась, — решил бомж, поворачиваясь на другой бок. — Черт возьми, что-то в груди стало болеть. Но все же скажи мне, почему ты вляпался в зону? Что, больше некуда было?

— Значит, некуда.

— А что родители? Или они не знают?

— Некому знать.

— Понятно. Значит, сирота. Угадал?

— Ну.

— А что на хвосте? Политика? Бытовуха?

Что у него на хвосте, солдат сам толком не знал, суда над ним не было, с прокурором не встречался. И он ответил просто:

— Одного гада пырнул.

— Это хуже... До смерти?

До смерти или нет, также не знал. Тогда казалось — да, теперь начал сомневаться. Вдруг окажется, что не до смерти, что Дробышев выжил и его не присудили бы к вышке... Но что же тогда получается? — думал солдат. Получается, что он напрасно сбежал из полка и вскочил в зону. От этих безотрадных мыслей у парня голова шла кругом... Правда, бомж, спасибо ему, более не стал лезть в душу, расспрашивать о подробностях. Возможно, посочувствовал и на правах старшего пустился в нравоучения.

— Знаешь, в Евангелии сказано: не убий. Думаешь, почему так сказано, что им, врага твоего жалко? Тебя жаль, того, кто убивает. Даже если и есть за что. Думаешь, ты его убиваешь? Э, нет — себя убиваешь! Пуля, она ведь поражает двоих. Одного — прямо, а другого погодя, рикошетом. Вот в чем суть. Я уже нагляделся. Одному в Минске жена изменила. Горячий был, молодой. Ну и укокошил ее заодно с ее полюбовником, кстати. И все так обставил, что следствие зашло в тупик. Мол, пошли и пропали, может, куда уехали. И что думаешь: ему легче стало? Дудки! Высох весь, исхудал, рак подключился. В коридоре под лестницей повесился. Без суда и следствия.

— Ну конечно, — согласился солдат. — У Достоевского так же — «Преступление и наказание»...

— Достоевский что! Достоевскому и не снилось, что у нас творится. Сын отца убивает. Отец дочку малолетнюю насилует. А ты — Достоевский...

— Так что же тогда — делай что хочешь? Есть такие, они все могут.

— Да, могут. На все способны. Но их способом против них нельзя. Ни за что нельзя.

— Каким же тогда способом можно?

— А против них нету способов, — глубокомысленно закончил бомж.

— Вы уверены?

— Абсолютно. Они сами себя прикончат. Рано или поздно. Как пауки в банке. Если в банку к паукам бросить, например, шмеля, они все набросятся на него и прикончат в один момент. А если их там не трогать, подождать — сами себя сожрут. Потому что никого не жрать они не умеют. Точно! Наукой доказано, — видимо, довольный своим ответом, бомж хитровато засмеялся.

Солдат молчал, ковырял прутиком в песке.

— Убийство — двойная беда. Даже если и не поймают, не засудят. Тебя же, наверно, ловили?

— Не знаю, — пожал плечами солдат. — Может, и сейчас ловят.

— Ну тогда тебе нельзя отсюда высовываться. Тут еще, может, и пересидишь.

— Чего же я тут дождусь?

— А знаешь, все может быть. Власть переменится или там амнистия. У нас же все меняется. Или путч новый. Или еще где реактор рванет, — бомж опять засмеялся.

— А радиация? — поднял голову солдат.

— Вот я и говорю: если раньше радиация не скрутит. Она коварная сука, подбирается на кошачьих лапках, а хватает, как тигр.

— Откуда вы знаете?

— Знаю, — уклончиво ответил бомж. — По себе чувствую.

Такой поворот разговора задел солдата, и он молча поднялся. Пошел берегом, рассеянно поглядывая на реку, будто река могла утешить. Было обидно за свою злосчастную долю — и почему ему досталась такая? Почему он попал к этому гаду Дробышеву, а не к какому-нибудь другому сержанту? И мало ему было беды в полку, так еще влез в эту зону. Наверно, она действительно страшная, напрасно некоторые в это не верят. Но тех, кто с ней столкнулся, уже не обманешь. А вот он обманулся. Хотя куда ему было деваться после всего, что он натворил и что сотворили с ним? Может, стоило прихватить оружие? Но вот бомж говорит про рикошеты. Пожалуй, хватит ему и одного рикошета, который, кажется, уже поразил его.

Многое в собственной судьбе солдата казалось ему нелепым, а то и вовсе скверным. Из людей, встреченных им на его пути, редко кто вызывал уважение. К бомжу он с особенным вниманием прислушивался с первого дня — все-таки нечасто ему приходилось встречать таких людей. Но скоро понял, что во всем разные они люди. Способ существования бомжа и некоторые его суждения иногда смущали солдата, привыкшего с детства внимать словам старших. В их словах и поступках парню всегда хотелось видеть прежде всего ясность и определенность — качества, которых, наверно, недоставало самому. Но не всегда он находил их и у старших. Начиная от мелких передряг и кончая вселенской катастрофой, какой явился Чернобыль.

Вот и бомж говорит о радиации то так, то этак. То она для него не угроза, то что-то уже чувствует. Хотя в определенном смысле он, пожалуй, и прав: даже наука не может разобраться в степени ядерной опасности. Одни ученые устанавливают одни нормы, а другие — иные. А вот им приходится все испытывать на себе. Они, словно мыши из никому не нужной лаборатории, неплановые жертвы науки. Заодно и техники. И оборонки — тоже. Солдат нигде не читал, но ему приходилось слышать, что причина катастрофы — все-таки в оборонке. Для ракет нужен был обогащенный плутоний, вот оборонщики и гнали. Техника не выдержала. Техника отстала от требований оборонки, а оборонка не выдержала давления политики. Люди же, похоже, должны все выдержать. А кто не выдержит и загнется, так это его личное дело.

Последние дни солдат также начал чувствовать себя что-то не так. Какие-то скверные изменения стали происходить и в его организме. Кружилась голова, иногда он даже боялся упасть, особенно когда долго глядел на воду в реке. Потом стали побаливать шея и горло, все время хотелось откашляться, и не получалось, — будто застряло что-то в гортани. Но больше всего донимал голод. Если бы поесть досыта, наверняка ощущал бы себя лучше. Только как следует поесть было нечего, а о прочем не хотелось и думать...

Спасительный костерок, от которого они кормились и который обогревал их особенно по утрам да и ночью, оказался сущим наказанием для солдата. Он пожирал неимоверное количество дров, а их все труднее приходилось добывать в лесу. Все было бы проще, имей они топор или какой-нибудь подходящий нож, кинжал, что ли? Но ничего подобного у них не было — дрова приходилось заготавливать голыми руками. Городской житель, солдат не думал, что в лесу это станет проблемой. Когда бомж уходил на болото, парень не мог надолго отлучаться от берега, а отлучившись, всякий раз тревожился при мысли, что костерок потух.

В тот день он особенно далеко и не отходил. Выбрал в молодом ельнике иссохшую елочку, которая, прикинул, будет ему по силам, и стал ее гнуть, раскачивать, чтобы сломать на корню. Елочка была не толстая, тем не менее пришлось с ней повозиться, и парень вспотел, пока выворотил ее с корнями. Так и поволок через подлесок к речке, тревожась, не заглох ли костерок? Уходя, подложил немного, все могло догореть.

Выбравшись из леса к обрыву, первым делом бросил взгляд на берег и в изумлении выронил елку — возле костерка спиной к нему сидела женщина. Костерок вроде еще дымил, и женщина в джинсовой куртке и брюках заботливо подкладывала в него то, что не успело еще догореть. Солдат испугался, что она может и вовсе затушить костер, и спрыгнул с обрыва.

— Вот подкладываю, чтоб не потух, — сказала женщина, голос был обыденный, почти домашний.

Не ответив, солдат осторожно поправил недогоревшие концы сучьев, дымок стал гуще, скоро должен был появиться огонь. Это его успокоило, хотя появление незнакомки встревожило, тем более что он тут оказался один — бомж с утра пропадал на болоте.

— Что, рыбу ловишь? — вглядываясь в его озабоченное лицо, спросила женщина.

Она была гораздо старше солдата, но с живым, испытующим взглядом из-под темных, непрорисованных бровей. На губах не было заметно следов помады, и они казались несколько бледноватыми для этой вовсе не старой еще женщины. Свободная манера обращения и речь давали понять, что она не местная — скорее всего, из города. Но как очутилась здесь? Что ей здесь нужно?

— Один тут? — поинтересовалась она и умолкла в ожидании ответа.

— Не один, — и полез на обрыв за елкой. Все-таки надо подложить в костер.

Он стащил елку с обрыва, подтянул поближе к берегу и стал обламывать сучья. Некоторые из них бросал в костер, другие — потолще — складывал в отдалении про запас. Женщина, пристально наблюдая за ним, молча сидела возле костра. Потом резко спросила:

— Ты дурной, что ли?

Прежде чем ответить, он кинул на нее сердитый взгляд — она явно смущала солдата и, видно, не сразу поняла это. А поняв, подошла к нему ближе:

— Давай помогу.

Вдвоем они стали обламывать сучья, хотя, как он увидел, помощи от нее немного, скорее мешала, то и дело дергая елку. Ростом она оказалась выше щуплого солдата и, похоже, нисколько не стеснялась его. Он же неизвестно почему робел от ее близости.

— А топора нет? — И он увидел, что спереди у нее недостает двух зубов.

— Нету.

— И пилы нет?

— Нет.

— Как же ты тут обходишься? Ручками?

— Ручками.

— А рыба как? Клюёт?

— Клюёт, — односложно отвечал он, с силой выламывая сухие суки снизу. Женщина обламывала более тонкие с верхушки.

— И много наловил?

Вспомнив об их улове и потере крючка, он криво усмехнулся. Кто она такая, чтобы все ей объяснять?

— Где же твои снасти? — не унималась женщина. — Сетка там или удочка.

— Для нашей рыбы снастей не надо, — сказал он, имея в виду лягушек.

— Вот как! Значит, ты не один тут?

— Не один, — и впервые открыто взглянул ей в лицо, задержав взгляд на вязаной шапочке: все-таки летом в зимних шапках не ходят, подумал он, даже в лесу. Это не укрылось от пристальных глаз женщины.

— Что, думаешь, шапка нехороша? Вполне хороша. И комары не кусают. Так с кем же ты тут ловишь?

— С кем надо, с тем и ловлю, — тихо сказал он и умолк. Праздное любопытство этой незнакомки стало надоедать солдату. «Хорошо еще, — думал он, — если только праздное. Скорей бы пришел с болота бомж, вдвоем мы бы сообразили, как обойтись с ней».

Женщина, в свою очередь, тоже поняла, что мало чего добьется от этого необщительного парня в солдатском бушлате, и сказала:

— А я иду, смотрю — костерок, никого не видно. Ну, думаю, прикурю, а то зажигалка кончилась. Топать еще далеко...

— Это куда — топать? — доброжелательно спросил солдат.

— Туда, — неопределенно махнула рукой женщина.

И тогда солдат заметил возле костра небольшую хозяйственную сумку, с которой женщины ходят на рынок. В сумку что-то было положено, однако вряд ли продукты — на вид сумка казалась легкой. В это время из кустов возле речки появился бомж, который, увидев их тут, приостановился, но затем не спеша стал подходить по берегу. Женщина, заметив его, кивнула:

— Напарник, да?

— Напарник, — сказал солдат. Его напряжение от неловкости общения с ней сразу убавилось. В присутствии бомжа он чувствовал себя увереннее.

На ходу изучая гостью, бомж подошел к костру. В шапке он нес наловленных в болоте лягушек и теперь явно раздумывал, как с ними быть. Обнаруживать их перед незнакомкой не очень хотелось, но и бросать жалко. Женщина, похоже, что-то поняла.

— Это рыба?

— Рыба, — вдруг сказал бомж. — Лещи. Показать?

— Покажи.

Женщина сделала несколько шагов навстречу, чтобы заглянуть в шапку, отвязанные уши которой он зажимал в кулаке. А взглянув, отшатнулась.

— Фу, гадость! Зачем они вам?

— Есть.

— Есть? Вы что?

— А ничего. Голод — не тетка.

— Понятно, — не сразу сказала женщина и отошла, кажется, теряя интерес и к лягушкам в шапке, и к обоим мужчинам.

Бомж между тем с неожиданным оживлением засуетился возле костра.

— Вот мы их сейчас подкоптим, поджарим и слопаем за милую душу. Правда, солдат? Можем и угостить, если оголодала. Откуда идешь? — по-простецки обратился он к женщине.

— Оттуда, — сказала женщина и присела в сторонке от костра.

— Солдат, давай больше дров! — начальственно распоряжался бомж. — Нажигай углей. А я этих выпотрошу, нафарширую, приготовлю... Французы едят, а мы что — хуже?

Солдат без особой охоты занялся костром — стал подкладывать в него сухие еловые сучья, и скоро пламя шугануло столбом под самое небо. Вблизи от костра становилось жарко, они отсели подальше; бомж, привычно орудуя перочинным ножичком, выпотрошил десятка полтора мелких лягушек.

— Небось в бегах? — вдруг спросил он женщину, сидевшую поодаль.

Та насторожилась.

— В каких бегах?

— Ну от милиции убегаешь?

— Ни от кого я не убегаю. Пусть от меня убегают.

— А ты что — из угрозыска?

— Хотя бы.

— Так я тебе и поверил! — оглядев ее, сказал бомж.

Женщина в ответ засмеялась — строгое лицо ее по-доброму прояснилось.

— Ну и правильно. Теперь никому нельзя верить. Мне тоже.

— То-то...

На груде нагоревших углей бомж принялся жарить лягушек. Солдат, сидя рядом, привычно сглатывал слюну и помалу ворошил костер. Он ждал, что женщина уйдет, ее присутствие сковывало его, уже успевшего отвыкнуть от необязательного общения с незнакомыми. Для общения ему вполне хватало бомжа. С женщиной, наверно, следовало держаться иначе, особенно с такой вот — бесцеремонно-простецкой.

Спустя час или больше лягушки кое-как поджарились, и они принялись за еду. Женщина по-прежнему сидела чуть в сторонке от костра, и солдат подумал: наверно, сейчас уйдет. Но она не уходила, и когда бомж протянул ей маленькую лягушку на большом листе лопуха, который они использовали вместо тарелок, нерешительно взяла его. Однако есть не спешила.

— А соли? Соли у вас нет?

— Чего нет, того нет, — развязно сообщил бомж. — И выпить не имеется. А может, у тебя есть?

— Чего нет, того нет, — в тон ему ответила женщина и тихонько вздохнула.

— Так что ешь. Небось давно не ела?

— Давновато, — простодушно призналась женщина. — Здесь где возьмешь?

— Здесь нигде не возьмешь. Кроме как у нас! — ерничал бомж. — У нас ресторанчик на берегу. «Речной поплавок», правда, солдат?

Солдат неуютно поежился. Пусть бы и любезничал с ней, если интересно, оставил бы его в покое.

Очень скоро они покончили с лягушками, обсосали мелкие косточки, которые бомж собрал в кучку и затоптал в песке.

— Вот и пообедали. И поужинали тоже. Ну как — ничего?

Женщина неопределенно пожала плечами. Вместо ответа она что-то достала из своей сумки.

— Закурим?

— А мы некурящие, — отозвался бомж.

— Травку...

— Травку? А что — есть?

Женщина ловко свернула из бумажки большую цигарку, прикурила от уголька с костра. Бомж подсел к ней поближе.

— Тебя как зовут? — спросил он.

— А тебя?

— Меня? Меня — Жора.

— Ну если ты — Жора, то я — Жоржетта. Слыхал такое имя?

— Конечно. И не только такое... Но как ты тут оказалась? Тут же зона.

— И хрен с ней, с зоной, — резко, без улыбки сказала женщина. — Нам-то чего бояться?

— А смерти?

— Смерть я уже видела. Даже поцеловалась с ней. Во, погляди!

Она сдвинула со лба вязаную шапочку, и на выстриженном виске над ухом обнажилась белая заплата лейкопластыря.

— А что это?

— От пули. Киллер, наверно, был спьяну, допустил промашку.

— Киллер?

— Ну. А ты думал — петух клюнул?

— И за что?

— За деньги. За что же еще.

— И много денег? — озабоченно расспрашивал бомж.

— В общем, мелочь какая-то, — бесстрастно отвечала женщина. — Основную сумму все-таки успели переправить за рубеж. Вот только сами замешкались, остатки не хотелось терять. Дружок мой получил в лоб, а мне по ошибке — в висок.

— Однако, — задумчиво произнес бомж. — Опасная ваша жизнь — с деньгами.

— Была — с деньгами. Теперь — ни копья в кармане.

— Ну и хорошо. Наверно, теперь киллер отстанет?

— Не скажи. Если бы отстал, я бы тут не оказалась.

— Вот как!

Они замолчали, женщина протянула бомжу крупный окурок, который тот бережно принял в свои закоптевшие пальцы.

— Что — прежде курил?

— Приходилось...

— А пацан? Хотя ему еще рано, — женщина смерила солдата насмешливым взглядом.

Солдату и вовсе стало не по себе, противно. Этот разговор о деньгах, киллерах и курение «травки» неприятно подействовали на него, хотелось встать и уйти. Пусть бы они здесь курили, исповедовались друг перед дружкой, все-таки у него иная, отдельная от них судьба. Но что-то в судьбе этой женщины привлекало и отталкивало одновременно, он продолжал сидеть, слушал.

— Одной тебе плохо, — вздохнул бомж. — Напарника надо.

— Где же его найдешь, напарника?

— Возьми меня. Или вон парня. А что — в армии служил, дезертир...

Солдат молча поднялся и берегом речки пошел в лес.

Он долго и бесцельно бродил между сосен, узнавая уже исхоженные им места, иногда примечая сухие березовые суки, которые можно употребить для костра. Валежника внизу тут мало, под соснами на мху зеленели широкие участки черничников. Но главная боровая благодать в бронзовой чаще сосен. Удивительно, но все они здесь будто на подбор одинаковые — толщиной, ростом, цветом стволов, плавно переходящим от серого внизу к яркой позолоте вершин. От этих вершин разливалась вокруг неизъяснимая лесная доброта, которой сосны одаривали своих меньших братьев в подлеске. Однако и здесь солдату было грустно, и он не понимал, отчего. Ведь должна бы такая благодать утешать человека, а вот не утешала. Лишь растравляла его и без того разворошенную душу, хорошо еще, что не лишала покоя. Покоя тут было настолько в избытке, что человек порой переставал замечать его.

Появление этой незваной женщины, кажется, в самом деле растревожило парня, разбудило полузабытое чувство неловкости. Похоже, он стал ощущать себя лишним или, может, боялся потерять бомжа? Но бомж особенно его и не привязывал к себе. Скорее всего, страшила перспектива одиночества, от которого он начал здесь отвыкать. И вот эта женщина...

Он никогда не знал, как вести себя с женщинами, особенно с теми, что постарше, такими вот разбитными, их женская насмешливость по отношению к нему, младшему, ставила его в тупик. Он терялся, смущался, злился, но иначе вести себя не мог.

На прогалине сел на траву, с жадностью вдыхая знакомый запах, памятный ему с детских деревенских лет, когда на каникулах жил у бабушки. В поле и в лесу бабушка всегда собирала травы, сушила их в темных сенях, он иногда спрашивал: зачем? От хворобы, поясняла бабушка. Зимой простудишься, заболеешь, а я заварю горбатки — попьешь и выздоровеешь... Была бы жива бабушка, наверно, сейчас заварила бы какие-либо лекарства — от радиации. Он бы выпил и был здоров. Но бабушки нет, а проклятая радиация притаилась где-то поблизости, ждет. И сколько ждать будет?

Когда стало смеркаться, солдат вернулся на берег. Он думал, что женщина ушла, — чего ей тут делать с ними? Но оказалось — они сидят с бомжом у костра, о чем-то мирно беседуют. Чтобы не мешать им, солдат присел на обрыве в сторонке, вглядываясь в затянутое вечерней дымкой заречье. Там, между луговых кустарников, уже поднимался туман, неровными клочьями плыл — расплывался вдоль над рекой, сливался с притуманенной лесной далью. Когда еще потемнело, мужчина и женщина поднялись и ушли куда-то вверх, под сосны. Выждав немного, солдат спустился с обрыва к костру, подложил топлива и сел на свое обычное место — лицом к реке, прислушиваясь к явным и кажущимся звукам из леса. Сперва слышался отдаленный говор, потом вроде вскрик, заставивший его насторожиться. Но потом раздался беззаботный смех женщины. Что бы все это значило? — озабоченно раздумывал солдат, теряясь в догадках. Но лишь в догадках. Самому в таком положении оказываться не приходилось, а из мужских разговоров можно было предположить всякое.

Возле костерка он и задремал — как обычно, положив голову на колени, и проснулся оттого, что кто-то оказался рядом. Это была женщина, и ее голос звучал в тишине с пугающей ласковостью.

— Бедненький, скорчился, как сиротка, — говорила женщина, опускаясь на землю рядом. Ее легкая рука легла на его плечо, лицо близко приблизилось к его лицу, и он ощутил незнакомое ее дыхание. — Наверно, озяб?

— Да нет, ничего, — тихо ответил он неожиданно для себя — доверчиво.

— Ты же такой молоденький... Хочешь, я тебя погрею?

Солдат вздрогнул от настойчивого прикосновения ее рук, попытался отодвинуться. Похоже, испугался и уже готов был возненавидеть себя за этот свой испуг. Но что-то протестующе колючее поднялось в нем изнутри, и он сказал:

— Не нагрелись... там?

Женщина тихонько засмеялась.

— Нагреешься с вами. Один старый, другой малый.

— Ну и пусть, — сказал он. — Зачем же тогда вяжешься?

— Отощали, видать. На лягушках, — после паузы вздохнула женщина и четко произнесла с сожалением: — Что ж!

Потом, отстранившись, свернула цигарку с «травкой», прикурила от тлеющего прутика и встала.

— Светает. Пойду. На Украину в какую сторону? Туда? — махнула она рукой.

— Ну, — рассеянно отозвался он.

— Я тут заплутала маленько, давно не ходила. Другие дела были!

Он вдруг вспомнил поразивший его вчера рассказ.

— А киллер?

— Что? Ах, киллер! — и рассмеялась, легко, искренне. — А вы и поверили?.. Чепуха все. Это — по пьянке...

Не прощаясь, она быстро пошла вдоль речки к камышовой затоке, потом остановилась, и в утренней тишине свежо прозвучал ее удалявшийся голос:

— Наврала я вам. Так что — всерьез не принимайте.

Солдат сначала поднялся, вглядываясь в ее отдаляющуюся фигуру, затем опустился в растерянности. И когда спустя полчаса с обрыва к нему спрыгнул бомж, сказал только:

— Ушла.

— Пусть идет, — беззаботно ответил бомж. — На Украине наркота дешевле.

Солдат не стал ему ни о чем рассказывать, ни тем более спрашивать. Он не все понимал. Но и того, что понял, с него хватило.

### 4

На несколько дней их наибольшей заботой стали лягушки.

С раннего утра бомж отправлялся на недалекое болото; солдат тем временем подкладывал в костерок дров, чтоб дольше горело, и лез на обрыв. Поблизости в бору он уже подобрал все, что могло гореть, за сушняком надо было идти подальше. Издалека тащить дрова к речке становилось труднее, несколько раз в пути солдат отдыхал, взмокнув в своем истрепанном бушлате. Бушлата он не снимал, как никогда не снимал своей телогрейки бомж. Все мое ношу с собой, сказал тот однажды, когда солдат заметил, что стало жарко и не мешало бы раздеться. Но бомж, пожалуй, был прав, если учесть его опыт проживания в зоне, который солдат лишь начал осваивать.

О политике они почти не разговаривали, будто политика их не касалась. Похоже, в зоне они вышли из-под влияния политики, как и власти в целом, и подчинялись единственно не менее строгим законам природы. Законам выживания. Лишь однажды утром, встав, чтобы сменить солдата возле костерка, бомж сказал будто в продолжение прежнего разговора или, может, чего-то увиденного во сне:

— Знаешь, солдат, вообще-то я за коммунизм. На черта мне этот капитализм!

— Наверно, потому, что капиталов нет?

— Нет, не потому. При коммунизме меня, наверно, давно бы в тюрьму посадили. А тут, пока кого не убьешь, не посадят.

— А вам что, в тюрьму хочется?

— Не то чтобы хотелось. Но в тюрьме, если разобраться, рай. Особенно зимой. Тепло, кормят, компания какая-то... Одно плохо — летом на волю не отпускают. А я волю люблю. Просто дивлюсь порой, как я стерпел двадцать лет армейской каторги. Удивительно! Правда, там была техника. Вот техники не хватает мне.

— Зато здесь свобода.

— Свобода, ага. Только знаешь, свобода с нагрузкой — холодом, голодом. Тоже не мед. Попробуй перезимовать на бесхозном чердаке. Или в канализации. Да от милиции не отцепиться. Да крикливые дворничихи. А то бдительные ветераны, этим все шпионы ЦРУ мерещатся. В мусорных ящиках при дворах теперь что найдешь? Люди сами все жрут, один целлофан выбрасывают, — зло говорил бомж. — На черта мне такой капитализм, лучше был социализм.

— Колбаса дешевая, — с издевкой заметил солдат.

— И колбаса, и многое другое. Возьми огороды. Можно было поехать за город, накопать картошки или там надергать морковки. Опять же сады. Колхозники перешли на цитрусовые, в яблоках отпала нужда — рви сколько хочешь. А теперь? Готовы тебя застрелить за одну морковку. Вон старого бомжа в Зеленом и стрельнули. За две луковицы отдал свою никчемную жизнь. Не отдал на войне за родину, так за две луковицы отдал. Нет, нашему брату при социализме лучше.

— Наверно, при социализме и бомжей не было. Не разрешалось.

— Не разрешалось, ага. Даже нищих вывели. Запретили, и все. Порядок был.

— Но некоторым и при капитализме неплохо, — сказал солдат. — Вон сколько коттеджей отгрохали. Опять же иномарки...

— Отгрохали, да. Жулье разное. Что они — заработали на те коттеджи? Или иномарки? Наворовали и пользуются, ничего не боятся. Потому что такая власть. Знаешь, я не стерпел как-то. В Минске. Вижу, во дворе двое поднимают капот новенького «БМВ» — такой, знаешь, блестит, как зеркало, последней модели. И начинают разбираться: где шрус, где турбонаддув, где карбюратор. А разбираются слабо, все по немецкой инструкции. Я подошел хоть мельком взглянуть, как там в движке. Всю жизнь барахлом занимался, а на такое чудо не пришлось и глянуть. Говорю, позвольте, мужики, поинтересоваться, я же автотехник по специальности. Один поднимает стриженую голову, хватает гаечный ключ, наверно, 28 на 30, да как гаркнет: прочь отседова, бомж вонючий! Ну я им показал бомжа вонючего, я им выдал! Во дворе куча пенсионеров собралась и, знаешь, поддержали меня...

— Поддержали?

— Точно. Один говорит: ночью им колеса проткнуть надо, чтоб знали. Но это напрасно. У такого красавца колеса протыкать рука не поднимется. Пусть ездит. Но его устройства я уже не увижу.

— Кто ж виноват? — задумчиво произнес солдат.

— Конечно, сам виноват, — согласился бомж и перевел разговор: — Ну как там наши жабы? Еще шевелятся?

К тому времени они создали некоторый запас — пойманных в болоте лягушек посадили в вырытую на берегу ямку, напустили в нее воды, пусть лягушки чувствуют себя бодрее. А чтобы не выбрались и не разбежались, бомж соорудил им сверху решетку из тонких прутьев.

Все светлое время дня он пропадал на болоте. Вблизи лягушек скоро не стало, — то ли он их переловил, то ли, почуяв опасность, те перебрались в другой конец болота. Часто лазить в топь бомж остерегался, а главное — там стали попадаться странноватые лягушки, мутанты, что ли? Несколько раз он ловил экземпляры с двумя парами задних лапок и сперва даже порадовался: больше будет съестного. Но потом побросал всех в воду — неизвестно, что ожидать от этого съестного? Другой раз ему попались небольшие лягушата с неестественно скособоченной головой, одна половина которой превосходила по размеру вторую. Этих также пришлось выбраковать. За последнее время бомж приобрел определенные знания о лягушках, их повадках и нравах, самодовольно хвастался, что разбирается в них не хуже городского профессора. И в самом деле — столько времени провел в болоте наедине с лягушками. Порой его только удивляло, что те никогда не квакали и вообще не издавали никаких звуков, будто утратили свой лягушачий голос. Но различных чудес природы и без лягушек хватало, наверно, не все их мог объяснить и настоящий профессор.

Погода в общем благоприятствовала лесному житью. С утра по реке плыли негустые туманы, на траву выпадала роса. В полдень становилось жарко, и солдат перебирался с берега под сосны. На солнце он чувствовал себя неважно: кружилась голова, временами мутилось в глазах, и он переставал видеть вдали. Но это — от голода, от длительного недоедания, думал парень. О худшем не хотел думать. Воспитывался оптимистом, особенно в школе, да и в армии тоже. Так полагалось. Человек должен верить только в хорошее и в еще лучшее.

Невесело размышляя о разном, солдат с обрыва наблюдал за костром, который едва заметно дымил, храня в себе ненужный пока огонь. Задумавшись, он не сразу заметил, как костерок вдруг взметнул пеплом, сильно задымил, даже заискрил под сильным порывом ветра. Взглянув на небо, парень испугался: из-за бора надвигалась сизая, с завернутыми краями туча; глухо пророкотал дальний гром.

На случай дождя у бомжа была сложена неширокая печурка в обрыве, где хранилось несколько сухих головешек. Обжигая руки, солдат принялся переносить туда мелкие головешки с огнем, совать их в печурку. Но не успел. С неба вдруг обрушился ливень, на прибрежном песке заплясали дождевые пузыри, река задымилась под множеством струй. Костер сразу осел и потух. Уже промокнув в своем бушлате, солдат бросился к печурке, чтобы спасти принесенные туда головешки, но опоздал — с обрыва на печурку обрушился дождевой поток, залил все. Парень в растерянности опустил руки, да так и остался стоять под дождем.

Вскоре с болота притащился бомж, также промокший до нитки, но с кучей лягушек. Тот сразу понял, что случилось, и впервые матерно выругался.

— Что теперь? Сырыми их жрать?..

Он бросил лягушек наземь, и те неторопливо поскакали под дождем в разные стороны. Бомж подошел к размытой печурке и стоял, сердито поглядывая на солдата, который чувствовал себя виноватым. Но что он мог сделать в такой ливень? Бомжу все стало ясно без слов. Вконец расстроенные, они взобрались на обрыв и встали под крайней суковатой сосной. Оба молчали, понуро наблюдая за бушующими водяными потоками. Не скоро еще ливень начал стихать, лениво морося мелким дождем. От обычно бодрого настроения бомжа почти ничего не осталось.

— Что-то мне сегодня, — начал он упавшим голосом, опускаясь на мокрую траву под сосной, — в груди сдавило, не продыхнуть...

Солдат насторожился, дожидаясь, что бомж объяснит, что же произошло, но тот умолк. Недолго постояв рядом, солдат поглядел в моросящее небо и пошел на обрыв. Хорониться от дождя уже не имело смысла, и он спрыгнул на берег.

Положение их ухудшалось. Вроде появилась надежда, нашли способ не умереть с голоду, и на тебе — этот внезапный ливень... Как им теперь без огня? Да и бомж... Не заболел ли? А недавно похвалялся: закаленный организм, никакая радиация не берет. Нет, пожалуй, перед атомной чумой никто не устоит. Все дело в сроках.

Так что же, черт возьми, им делать?

Прежде во многом, что касается зоны, солдат полагался на бомжа, человека более здесь опытного и знающего. Но вот выяснилось, что и бомж не все может и не все знает. Кое-что надо постигать самому. Если не поздно.

Между тем надвигалась сырая промозглая ночь, следовало подумать, как и где ночевать. В норе-землянке бомжа все обвалилось, лезть туда было невозможно. Немного подождав, пока утихнет дождь, они начали устраиваться на обрыве. Недалеко в лесу солдат наломал мокрых еловых ветвей, колючий ворох которых принес к обрыву. Вдвоем с бомжом они ровно разложили их на мокрой земле под крайней сосной, и бомж с трудом отдышался.

— Как-нибудь, солдат, — обнадеживающе сказал он. — Главное, не падать духом...

Похоже, падать духом он не собирался, по-прежнему цеплялся за какую-то призрачную надежду. Впрочем, так, видимо, и лучше, подумал солдат. Чем стенать и киснуть, лучше делать вид, что худшее не наступило. Еще наступит...

Но как жить с такой перспективой?

Наверно, надо бы ему родиться с другим характером. Просто легче ко всему относиться. Как бомж, которому все нипочем. Если бы он сдержался и там, в казарме, сумел пережить стыд, как это сделал его земляк Петюхов, наверно, не случилось бы того, что загнало его в западню.

Относиться ко всему иначе или вообще никак не относиться? Все-таки он человек, а у человека должно быть такое, чем поступиться он не может. Нет у него на это ни прав, ни возможностей.

Вот он и не поступился. Ну а чего добился?

Добился того, что его физическое существование оказалось под угрозой. Погибнет он — исчезнет и сама способность реагировать на все радости и печали жизни, исчезнут все проблемы.

Словом, угодил в волчью яму. Сколько куда ни прыгай — не выберешься.

Еще не совсем стемнело, бомж улегся на колючую еловую постель, подобрал мокрые ноги.

— А ты что? — сказал он. — Иди ложись. Вдвоем теплее будет.

Солдат еще долго и молча сидел рядом, думал. Когда совсем стало темно, пристроился на лапнике за спиной бомжа. Стал вроде согреваться и уснул...

Бомж лежал тихо, стараясь лишний раз не ворочаться, не тревожить парня. Сна у него не было, чувствовал он себя скверно, впрочем, не первый уже день. Сначала думал, что простудился на болоте, хотя на простуду его состояние мало похоже. К тому же полагал, что невосприимчив к простуде — давно не кашлял и даже забыл, когда последний раз болел гриппом. Теперь же такое ощущение, будто слиплось и болит правое легкое. Порой болело так, что невозможно было вздохнуть, и он обходился мелкими частыми вдохами. Даже небольшое усилие давалось ему с трудом. С трудом он управлялся и на рыбалке с длинным удилищем, не легче было нагибаться за шустрыми лягушками на болоте. Хорошо, что поначалу их там было много.

После полуночи, кажется, уснул. Но, как и все последние ночи, спал мало и скоро проснулся, лежал, вслушиваясь в лесной шум. Таинственные звуки ночного леса его давно не тревожили, он ничего не боялся ни в лесу, ни в городе. И даже тут, в зоне, его ничто не могло испугать. За спиной тихо посапывал солдат, от него шло слабое, ровное тепло, оно успокаивало. Все же вдвоем лучше, чем одному, думал бомж, даже с дезертиром, а может, и с убийцей. Все-таки он, пожилой, нуждался в том, чтобы рядом был молодой. Со стариком интереснее, но молодой обнадеживает, самого делает моложе. Даже такого закоренелого бомжа, как он.

Впрочем, он тоже не всегда был бомжом, когда-то имел собственное имя, фамилию и даже носил на плечах погоны. Служил офицером — заместителем командира по технической части, зампотехом — на языке военных. Последние пять лет его службы проходили в далеком приполярном гарнизоне, где он жил с женой, заведующей офицерской столовой, и пятилетним сыном Дениской.

Далеко не каждый офицер способен был выдержать здесь три, четыре, а то и пять лет изоляции от страны, пока дожидался замены. Снежная ночь без дня (или день без ночи, что одно и то же), леденящая стужа, гнетущее чувство заброшенности на краю света многих приводили в состояние хронического конфликта с начальством, семьей, нередко — с самим собой, что в таких случаях кончалось выстрелом в висок. Военные невольно искали отдушину и зачастую находили ее в бутылке. Или чаще всего — в бензиновой бочке, в которой «Военторг» завозил на Север 95-градусный спирт. Этот бочковый напиток сильно отдавал бензином, но из-за ржавчины обрел вполне благородный цвет коньяка и в течение полярной ночи потреблялся весь без остатка. Когда же его не хватало, в местной лавке резко возрастал спрос на одеколон, лосьоны, различную бытовую химию.

Зампотех никогда даже во сне не видел свое скорое бомжовское будущее, служил, как все, — до поздней ночи крутился на работе, пил не больше других, старался не очень конфликтовать с начальством. Не конфликтовать было невозможно, этого не поняли бы ни сослуживцы-товарищи, ни подчиненные, ни само начальство. Двенадцать и более часов, с давно помороженными руками, в боксах и парках возле настылой, заиндевевшей, вечно неисправной техники, на стуже и сквозняках, в постоянных стычках с начальством — своим и проверяющим — все это выматывало силы и нервы. Единственным спасением было расслабиться, выпить за дружеской беседой с другом, восстановить нервные силы, чтобы назавтра их снова растратить в тех же самых боксах и новых стычках.

### 5

Так продолжалось несколько лет, наверно, все-таки он дождался бы запоздалой замены, если бы однажды, в самый пик полярной ночи, в их гарнизон не прилетел новый ракетный командующий. Генерал только что был назначен на высокую должность и проявил железную решимость навести порядок в самом стратегическом роде войск. Устроив двухдневный разгон в подразделениях, сняв с работы двух командиров и трех их заместителей, генерал отправился на ближайший — за 250 километров — аэродром стратегических бомбардировщиков. Как большой начальник он не мог ездить на каком-нибудь штатном армейском «УАЗе» и прихватил с собой в самолете специальный правительственный «ЗиМ», который его и подвел. А заодно оборвал и без того малоуспешную карьеру автомобильного зампотеха.

Впрочем, давно все это было, за много лет бомж обо всем передумал и многое переосмыслил, не держал застаревшей обиды на строгого генерала, который, по слухам, доживал век на подмосковной даче. Бомж понимал: сам виноват, надлежало быть осторожнее, усерднее, осмотрительнее. Но как убережешься от всего, если самый близкий тебе человек — жена только и караулила, чтобы где-нибудь подловить его, подставить начальству, похоже, находя в этом свое мстительное женское удовлетворение. Конечно, у нее были основания, он не очень баловал себя трезвостью. В тот раз после грозного генеральского разбора в клубе части, когда командующий уже выехал за проходную и все с облегчением вздохнули, они с другом хорошенько поддали в аккумуляторной, и он, притащившись домой, завалился спать. Накануне ночью спал всего два часа после суматошного предпроверочного аврала в автопарке и теперь заснул как убитый. А тут жена толкает в плечо — прибежал дежурный, передает приказ командира полка: срочно выехать на двадцать седьмой километр, где застрял командующий. Дежурные механики уже ездили, не могут понять, в чем дело, — двигатель не запускается. Что было делать сонному, да еще нетрезвому зампотеху? Обложил матом жену и натянул полушубок. Машину он довольно скоро наладил (забарахлила цепь высокого напряжения), и она завелась. Но пока копался в двигателе, опытный глаз командующего, наверно, что-то заметил. Выяснил его фамилию и кивнул адъютанту: запиши. Зампотех подумал: для благодарности в приказе и даже скромно порадовался. Приказ о результатах высокой проверки пришел действительно скоро, но к нему был приложен другой — об увольнении из кадров группы офицеров, не справившихся с занимаемой должностью, среди которых значилась и его фамилия. И это — за два года до выслуги с пенсией, с неладами в семье, при острой нехватке жилплощади в гарнизоне, невозможности найти там какую-либо работу.

А тут и совсем разбушевалась жена, которая вообще с трудом терпела его, выпивоху в погонах. Где уж было ей смириться с ним без погонов. Полгода добивалась развода, а разведясь при содействии партбюро, тут же расписалась с прапорщиком, который был на два года моложе ее и членом того же партийного бюро. Недавний зампотех бросил на стол в партбюро свой партбилет и дико запил. Потом, когда денег не стало, поехал куда-то со случайным собутыльником, в каком-то северном городишке устроился инженером местного автотреста, где год спустя его понизили до бригадира механиков. Затем несколько месяцев работал рядовым водителем, пока бдительные ребята из ГАИ не отобрали права. Наверно, самое время было одуматься, сделать важные для жизни выводы. Но недавний зампотех ничего этого не сделал, а с горя еще больше запил. Тем более что жил без семьи, общаясь с множеством друзей-собутыльников, среди которых попадались неплохие, сердечные люди. Кто-то из этих неплохих и сердечных присватал его к тоже неплохой женщине, продавщице гастронома, и он по пьянке перешел к ней на квартиру. Как теперь он понимал, продавщица была терпеливой женщиной, искренне желавшей ему добра. Она никому на него не жаловалась, а только тихонько плакала, когда он не просыхал неделями. И ему стало ее по-настоящему жалко. Однажды она сказала, что, может, ему подлечиться, и он неожиданно для себя согласился. Три месяца позволял медикам истязать себя разной дрянью, не однажды переносил мучительную, искусственно вызванную рвоту. Но он действительно хотел вылечиться и начать правильную, трезвую жизнь. Медицинская комиссия, признав его здоровым, выдала соответствующую справку с печатями, которую он с некоторой даже гордостью предъявил продавщице. Та, обрадованная, приготовила обед с его любимым украинским борщом, постелила на стол новую скатерть. Однако не оказалось хлеба, и он с двадцатью пятью рублями в одной купюре побежал за ним в гастроном на соседней улице. Домой можно было возвращаться двумя путями — напрямик, через двор, мимо детского садика или за угол, по улице, мимо забегаловки с ласковым названием «Уралочка». Не подумав о последствиях, с буханкой под мышкой он пошел по улице и возле забегаловки наткнулся на давних друзей — одноглазого Юзя и Колю Волявку. Друзья удивились нежданной встрече, спросили, где был в то время, когда не виделись. Он объяснил: лечился. Ну и как? Да вот вылечился, справку имею. Друзья пришли в бурный восторг: надо обмыть справку! Не могу, дома жена ждет. Всех нас ждут дома жены, был ответ; впрочем, ты можешь не пить, мы за тебя выпьем. Как было отказать друзьям, и он зашел — «на минутку». Эта минутка, однако, непонятным образом растянулась, и он выбрался из «Уралочки» около полуночи — пьяным, без хлеба и без денег. Продавщица три дня проплакала, потом собрала его холостяцкое добро в старый чемодан и выставила на крыльцо. «Ты мне не муж, тем более не расписаны».

После были еще женщины, добрые и злые, некоторые искренне пытались обратить его на путь праведный. Но все без результата. Все напрасно. Бывший гвардии зампотех не мог победить в себе маленькую серую мышку — мышка настойчиво и последовательно побеждала зампотеха. Он страдал, ругал себя за неудачи и срывы, но продолжал пить; остановиться уже не имел силы. Каждый день был на взводе — за свои, кое-где и кое-как заработанные, на халяву, в долг. Очутившись в зоне, в одиночестве, без малейшей возможности захмелеть, он как-то унялся. Может, тому способствовала природа, а может, страх радиации — кто знает. Или сам способ существования, из которого исключалась выпивка. Никто его тут не соблазнял и ничего не запрещал ему, он чувствовал себя свободным, зависящим лишь от собственной воли. Свобода, вкус к которой он изрядно развил за последние годы, словно наркотик, влекла его к еще большей свободе. Кажется, здесь она стала абсолютной. И он, похоже, ожил. Если бы только не сбылись пророчества — об угрозе облучения, воздействии радионуклидов и их последствиях. Но, иногда рассуждал он, разве в этой жизни опасна лишь зона? И какая ему разница, от чего загнуться, когда придет его час? Хотелось бы надеяться, однако, что его час еще не настал, а когда настанет, он не очень-то и печалится. Не такой уж выдалась его жизнь, чтобы очень сожалеть о ней.

Ранней весной наряд милиции выкурил их из пустой, заброшенной дачи, где он с еще одним забулдыгой кантовались зимой. Вдобавок прокуратура повесила на них похищение имущества, которого они и не видели, потому как дачу обокрали до них. Именно тогда он и решил: в зону! Наверно, другого для него места на земле не осталось; опять же в зоне вряд ли его будут искать, и он проживет там в покое сколько даст Бог. Его напарник, бывший инструктор райкома, сказал, что в зоне или сразу откинешь копыта, или закалишься, как сталь. Напарник знал, он происходил из района, который оказался в зоне. Правда, поехать туда не захотел. Какие-то были на то причины. У него же никаких причин не было, и поехал он, как когда-то ехали осваивать целину или строить гидростанции. Терять ему было нечего. Денег он, конечно, не имел, чем питаться в зоне, инструктор не объяснил. Но в его пропотелой шапке с летней поры торчал ржавый рыбный крючок, который его и выручил. Уж как он берег тот крючочек... А вообще возле реки летом жить было можно, никто его тут не тревожил, за два месяца он не встретил в лесу ни одного человека. Беглый солдат стал первым, кто с ним поздоровался, и он был рад парню. Все-таки человек не должен жить в одиночестве, даже волк один не живет. Только бы не подвело здоровье.

Все долгие годы его жизни бомжом он чувствовал себя неплохо, никогда не болел даже на Севере. Правда, там хорошо пил — и не какую-нибудь бормотуху — чистейший девяностопятиградусный. А тут что выпьешь? Пожалуй, в этом причина его неожиданной немочи, а вовсе не в радиации, решил он наконец и почти успокоился.

Утром, как только рассвело, на лапнике заворочался солдат. Сам он продолжал лежать, не имея ни сил, ни желания вставать и даже разговором нарушить покой. Не раскрывая глаз, слышал, как солдат поднялся, недолго посидев, надел мокрый бушлат.

— Пойду доставать огонь, — сказал парень.

Бомж промолчал. Намерение солдата вопреки ожиданию не вызвало у него радости — огонь, к удивлению, перестал занимать его. Со вчерашнего дня он чувствовал себя все хуже и хуже, каждый вдох отдавался глубокой болью в груди.

— И куда пойдешь? — напрягшись, спросил бомж.

— На хутор. За речкой.

— За зоной?

— За зоной.

Солдат обулся, встал, сделал свое дело поблизости. Но не уходил. И бомж, набрав в грудь побольше воздуха, сказал:

— Может, и не стоит возвращаться? Сюда...

— А куда же? — повернулся к нему солдат. — Куда же еще?

— Ну мало ли куда. Свет большой...

— Свет большой, а для нас места мало. Может, и нигде нет.

— Для нас нет, — согласился бомж, едва сдерживаясь, чтоб не заплакать. Слезы подступили у него слишком близко, даже защекотало в носу.

Солдат тем временем спрыгнул с обрыва, и бомж окликнул его:

— Слушай! Ты это... Может, чекушечку? Если можно...

— Что?

— Ну это... Выпить... — слабым голосом пояснил бомж.

— Еще чего! — И солдат быстро пошагал к берегу.

Путь свой сюда солдат в общем помнил, он пролегал вдоль речки. Отсюда километров пять было до брода, а там полем до хутора. Заплутаться он не должен, тем более днем. Только бы не наскочить на людей или милицию. Главное — за речкой перейти гравийку-шоссе, по которой наверняка ездят патрули, обеспокоенно рассуждал солдат. Все-таки как бы боязно ни было, а приходилось рисковать, потому что без огня жить невозможно. А еще парень надеялся подкрепиться — поесть. Прошлый раз дед кормил его картошкой с простоквашей, был даже хлеб. Он долго потом сожалел, что съел всего один ломоть, на столе осталась краюха. Сваренная в печи картошка с пригарками вспоминалась ему не одну голодную ночь. Может, повезет, и он поест вдоволь. От пуза, как говорили в казарме. К лягушкам он так и не преодолел брезгливости, ел их, разве чтобы не умереть с голоду. Ничто его так не угнетало, как голод. Прежде никогда не думал, что чувство голода может быть таким неотвязным, таким угнетающим. Даже тогда, когда он пытался убежать в деревню к бабушке и два дня просидел в заброшенном сарае без воды и пищи. Особенно есть тогда и не хотелось — было страшно, что найдут. Его и нашли. Девчонки из соседнего двора подсказали, и милиция взяла на рассвете сонного. Потом было отделение, какая-то девушка в милицейской форме чего-то от него добивалась. Очень стыдно было возвращаться к мачехе, и он еще день или больше не ел.

Шел по стежкам, кое-где сохранившимся над речкой, но заросшим ольшаником и крапивой, — в таких местах приходилось сворачивать в обход или спрямлять путь. Иногда попадались нетронутые лужайки с высокой, до колена, травой, которая звучно шорхала по голенищам его сапог. Людей нигде не было. Да, наверно, и не могло быть, — здесь начиналась та проклятая зона, которой все боялись. Он тоже боялся. Но то прежнее пугающее чувство, с которым он шел сюда, со временем притупилось. Похоже, стал привыкать к опасности. Порой был готов даже смириться с ней. Может, это и хорошо. А может, и нет.

Лишь бы повезло на хуторе, думал солдат, чтоб не пришлось встретить там кого из чужих, а уж дед должен ему помочь. Все-таки он здорово ему помог в прошлый раз, дал приют на неделю. Да и он уважил старика — ушел, когда нагрянула милиция. Так что дед оказался вроде бы причастным к его преступлению и, возможно, по закону подлежал ответственности. Интересно, угрожала ли бомжу такая ответственность? Пожалуй, да. Все-таки солдат поведал ему обо всем, и бомж обязан был донести. Во всяком разе, не укрывать заведомого преступника. Бомж, однако, был как бы выше закона и вряд ли помышлял о доносе. По этой части солдат был спокоен. Чувствовал, что бомж не предаст. Почему он так чувствовал — кто знает. Наверно, чувства неподотчетны разуму.

Одно было определенно — за это горькое время у солдата не нашлось более близких людей, чем хуторянин-дед и бездомный бродяга-бомж. Несомненно, теперь они уже связаны одной бедой, и, если что, их настигнет одна расплата. Имя ей все то же — зона.

А может, плюнуть на все и мотать куда подальше, вдруг не в лад со своим настроением подумал солдат.

Только куда?

Так рассуждая, он шел краем бора, пересек невысокий лесистый пригорок. Стало тепло, наконец он согрелся после вчерашнего ливня и промозглой ночи, бушлат его почти уже высох. Лес, как всегда, умиротворял душу. Все здесь было мило, и солдат подумал, что, может, это в генах сказывается давняя любовь предков его к лесу. Или наоборот: леса — к его давним предкам. Вдруг рассеянный лесной сумрак разом оборвался: перед ним предстал недалекий пустой прогал, ярко освещенный незатененным солнечным светом. На огромном, в несколько гектаров лесном пространстве стояли голые сухие сосны с порыжевшими сучьями. Подлеска здесь никакого не было. Все очень смахивало на недавнее пожарище, хотя и без видимых следов огня. Значит, это оттуда, из Чернобыля, не сразу сообразил солдат. Наверно, повеяло от реактора или хорошенько сыпануло стронцием или еще какой химией, и лес не выдержал. Лес умер стоя. На краю прогала несколько молодых осинок робко зеленели чахлой листвой, других примет жизни не было.

В этот неживой лес заходить было страшно, и солдат повернул в обход. Понадобилось сделать немалый крюк, чтобы обойти обезображенную катастрофой зону, и, перейдя небольшое с ольшаником болотце, он наконец снова выбрался к речке.

Не скоро отыскал и брод — давний переезд через реку, к которому с обеих сторон вели заросшие репейником автомобильные колеи, доверху налитые стоячей черной водой. Солдат снял сапоги и, осклизаясь в грязи, босыми пятками перешел на другой берег. Где-то здесь оканчивалась атомная зона и могли встретиться люди. Однако до близкой гравийки никто ему не попался, он перебежал непыльную после дождя дорогу и пошел полем.

Заброшенное после чернобыльского взрыва поле густо заросло высокими, в пояс, сорняками, остатками прежних посевов и еще неизвестно чем. Участки низкорослой ржи чередовались с порослями овса, какого-то буйного разнотравья, репья, из которого местами торчали хилые стебли кукурузы; кое-где начинал ярко желтеть люпин. Все это не первый год роскошествовало здесь без ухода и надобности; злаки постепенно дичали и вырождались — люди давно потеряли интерес к этой земле.

Как только среди равнинной дали показалась шиферная крыша, хутор, солдат заволновался. В прошлый раз, на исходе весны, немало побродив по лесам и перелескам, он зашел туда, потому что, вконец обессилев от голода, дальше идти не мог. Он уже знал, что усадьба деда только казалась хутором, а на самом деле была крайней в деревне хатой. Но — пока была деревня. Теперь от деревни почти ничего не осталось, кроме нескольких одичавших яблонь в бывших садах, — оставленные жителями дома разрушены, растасканы на дрова, сожжены. Он тогда обошел всю мертвую деревню и лишь на последнем дворе нашел человека. Это был еще бодрый, жилистый старик, который пытался тут хозяйничать: раздобыл лошадь, собрал кое-какой инвентарь, заимел корову и даже годовалую телку. Возле усадьбы распростерся немалый участок обработанной земли, там что-то росло. Похоже, дед чувствовал себя в силе, не боялся атома, и его пример внушил солдату надежду.

Краем картофельной нивы солдат торопливо шагал по направлению к хутору. Картофельные борозды были аккуратно окучены и сочно зеленели ботвой, уже зацветавшей крохотными бело-синими цветками. Пожалуй, вырастет картошечка, по-хозяйски подумал парень.

Он еще не дошел до усадьбы, как что-то ему там не понравилось. Что-то было там не так: почему-то исчезли ворота, с поля виден был распахнутый двор, похоже, пустой. Ни лошади, ни коровы с телкой, которые раньше паслись поблизости, не видно. Не отзывался пронзительным лаем и Кудлатик. Сдерживая беспокойство, солдат осторожно вошел во двор. Старый Карп молча сидел на крыльце, нисколько не удивившись его приходу, не ответил на приветствие.

— Что у вас случилось? — спросил солдат, уже чувствуя, что случилось скверное.

Дед повел потухшими, невидящими глазами и молча развел руками. Говорить ему, судя по всему, было трудно.

— Но что? Что такое?

— Да вот! — промолвил наконец хозяин. — Разбурили, разграбили все! Весь мой труд...

Показалось, он даже заплакал — обросшее седой щетиной лицо горестно сморщилось, дед громко высморкался на траву.

— Кто?

— А кто ж их знае — кто. Приехали с фурой...

— С фурой?

— Ну этой — межгородние перевозки...

— Ночью?

— Зачем ночью? Днем. Перед вечером. Погрузили коня, корову с телушкой. Выгребли збажину, ячменя трохи было... Перевернули все вверх дном — валюту шукали.

— Валюту?

— Ну.

— Что за люди? Свои, приезжие? — не мог чего-то понять солдат.

— Четверо. Справных таких. В скуранках, с наганом. Кудлатика застрелили.

— Кудлатика?

— Вон за хлевом лежит. Закопать надо.

Постепенно старик успокаивался, рукавом заношенной рубахи вытер слезящиеся глаза, трудно поднялся с крыльца. Согбенный переживаниями, он вроде стал ниже ростом, чем казался прежде, исхудавшим и постаревшим.

— И что сказали? — добивался солдат. — Может, искали кого?

— Не спрашивали.

— Так, может, в милицию надо? Заявление написать?

— Не. Сказали: заявишь в милицию — спалим. Да и милиция... Можа, она и навела этих, они же все — в хаврусе, — тихо, будто сам с собой, рассуждал старик, стоя посреди опустевшего двора. Двери в хату и сарай были раскрыты, на траве валялись сброшенные с петель ворота. Видно, старик все еще был в шоке от того, что здесь произошло. Солдат не знал, как утешить хозяина. Между тем шло время, он не мог тут долго оставаться и тихонько сказал:

— Мне бы поесть чего...

Дед, похоже, несколько притих в своем горе, видно, понял чужую беду — подумал о госте.

— Даже не ведаю, что... В печи другой день не палил. Чакай, можа, хлеба крыху засталося...

Он пошел в сени и скоро вынес оттуда неровно обломанный кусок хлеба. Хороший, однако, кусок! Солдат сразу схватил его. Глотал, кажется, не жуя. Дед снова опустился на ступеньку крыльца.

— Обжился, называется. На восьмом десятке. Думав, хоть поздно, но дочакався своей поры. А то все неяк было: то коллективизация, то война, то подъем сельской гаспадарки. А тут Чарнобыль. Казали, все вреднае — и молоко, и продукты. Оно, може, кому и вредное, а мне ничего. Займел гаспадарку. Один. Кишки рвал. Но никто не вредил. Мусить, боялись сюда потыкаться. А я не боялся, работал. День и ночь. Это раньше задарма, а тут, что зрабив, твое. Что посеяв — собрав. Шкада, Чернобыль гэты, чтоб он пропав. Кто его выдумав на нашу голову?

— Ученые выдумали, — тихо вставил солдат.

— Чтоб яны сказилися, гэтыя ученыя. Хай бы лучше жняярку добрую придумали, чтоб не мучился с этой, — кивнул он на полуразобранную жнейку, стоявшую в углу двора.

— Что им жнеярка! Им надо ракеты.

— Ракеты им треба. Теперь вон дамавин не наберешься. Кажуть, в Минску уже в целлофане хоронять, правда это? А я себе зимой из сухой доски сбил, — нядрэнная домовина вышла. Так забрали! Сказали, самим понадобится. Чтоб им так умереть понадобилось...

Больно и горько было все это слушать солдату, но слов для утешения не находилось — не меньше болело свое. Он сжевал полкуска хлеба и не наелся, остаток засунул в карман.

— Дед, мне еще спичек надо. Может, имеешь?

— Нет, спичек не дам. У самого полкоробки осталось. Коли треба, могу «катюшу» дать.

— Какую «катюшу»?

Дед опять молча прошел в сени, принес небольшой коричневый мешочек, развязал и вынул «катюшу» — кусок кремня, обломок напильника и какой-то лоскут.

— Во, ударить, искра выскочит, затлеет...

— Понятно. И еще... У меня там напарник приболел. Может, чем поддержать? — виновато попросил солдат.

— Вот как! Приболел? — насторожился дед. — Атом?

— Кто знает. Но есть нечего.

Протяжно вздохнув, дед повернулся, будто с намерением куда-то пойти, но остановился.

— Что ж тебе дать? Все выгребли. Бульбочки с мешок осталось. Сказали: мы добрые, это тебе, чтоб не умер. Бери половину.

— Не донесу.

— Ну ведерко.

Они зашли в прохладную дедову пристройку, где хозяин, тяжело дыша, выбрал из какого-то ящика прошлогоднюю, с длинными белыми ростками картошку. Набралось небольшое ведерко, правда ржавое и погнутое. Похоже, не без сожаления он протянул его солдату:

— Во, болей нет. Коли б ты раней, все было. Так забрали. Не побоялись, что радиация.

— И правда — с радиацией? — обеспокоился солдат.

— Кто его ведае. Я ел — ничего, не умер, и внукам давал, как приезжали. Ну а эти сами есть не будут — на продаж повезуть, в Москву. Теперь же все в Москву везуть.

Солдат торопливо простился с дедом и с ведерком в руке быстро пошел в поле. Несколько раз оглянулся, но деда не было видно. На краю пустынного поля осталась ограбленная усадьба с несколькими деревцами в садике; солдат чувствовал, что больше не придет туда — хорошо бы сейчас унести ноги. «Как партизан, как партизан», — отстраненно думал он о себе, вспомнив какой-то фильм, что смотрел в детстве. Там партизаны несли в лес овцу, не ведро картошки. Действительно, времена изменились по сравнению с войной. Партизаны хотя бы имели винтовки...

На ходу время от времени он совал руку в карман бушлата, отщипывал по кусочку хлеба. И всякий раз повторял вслух: остальное — бомжу. Но не мог удержаться. Голод его не убывал, кажется, еще и усиливался; хлеба хотелось еще и еще. Солдат выругал себя за несдержанность и утешился мыслью, что картошку принесет всю. Они разожгут костер и напекут ее вволю, хватит обоим, мягкой, горячей, с подпалинками по бокам...

Солнце тем временем взобралось в зенит и здорово припекало спину, голову тоже. Солдат снял шапку, сунул ее под дужку ведра, — так стало прохладнее и не было видно, что он несет. Он благополучно перешел затравенелое поле, снова вышел к обросшим лопухами колеям брода. Недолго передохнул в тени под кустом, разулся. Переходил брод не спеша, с наслаждением побултыхал босыми ногами в холодной воде. На другом берегу стал обуваться. И тогда непонятная сила заставила его взглянуть под недалеко подступившие к броду ели. Сперва он ничего там не заметил, но, взглянув во второй раз, сжался в испуге. В двадцати шагах между елей стоял худой, будто облезлый, с белыми проплешинами по бокам волк. Что это волк, а не собака, он понял наверняка — характерная, настороженная поза зверя, неожиданно встретившего здесь человека, опущенный к земле хвост. Но в нем не было какого-либо признака агрессивности — скорее немощь и бессилие. Не отрывая от волка глаз, солдат встал, подхватил ведро. Волк, так же не отрываясь, пристально следил за человеком, и в его поведении по-прежнему не замечалось ни вражды, ни испуга. Может, как и человек, он был голоден, а может, болен и ждал помощи? А вдруг бешеный? — и солдат сперва медленно, а потом все быстрее пошел от реки. Волк остался под елками.

То и дело оглядываясь, солдат быстро шагал лесной опушкой. Между сосен сзади еще была заметна серевшая вдали тень, потом, заслоненная деревьями и подлеском, она временами исчезала. А затем и вовсе пропала из виду.

Солдату стало не по себе, перед глазами поплыл туман, и он расслабленно опустился наземь. Какое-то время не мог понять, что случилось, но чувствовал себя скверно — кружилась голова, подташнивало. Неожиданная лесная встреча отозвалась новой тревогой. Нет, пожалуй, надеяться не на что. Вот, даже и волк. Если такое случилось с волком, что же ожидает людей...

Бомж лежал на лапнике, кутаясь в свою не просохшую со вчерашнего дня телогрейку. Чувствовал он себя больным, начинало знобить. Силы исчезли, и он не мог понять, что с ним происходит.

Потом какое-то время пробыл в забытьи — спал или, может, дремал — не понять. Проснулся в жару — не хватало воздуха, он задыхался, было душно, лицо и руки покрылись испариной. И очень хотелось пить. Но вода в реке за обрывом — как до нее добраться? Бомж лежал, боясь стронуться с места, потерял уверенность, что сможет снова заползти сюда.

Спустя недолгое время стало еще хуже — все внутри заполыхало огнем. Во рту высохло, язык превратился в наждак — не шевельнуть, слабость овладела всем телом. Но еще больше донимала жажда, и он мучительно соображал, как все-таки доползти до реки. Сейчас, сейчас, напрячься, встать — мысленно убеждал он себя и не мог встать.

Когда совсем стало плохо, понял четко и ясно, что без воды он погибнет. Невероятным усилием заставил себя подняться на колени, сползти с обрыва. Тут, на угретом солнцем песке, стало и вовсе невыносимо. Шатаясь, сделал несколько шагов вниз и упал коленями в горячий песок. Далее полз — на четвереньках, через песок и траву, наконец добрался до воды.

Он пытался пить лежа, не обращая внимания, что грудь и локти погрузились в воду. Но вода оказалась совсем не такой, какой он жаждал, — теплая и мутная, она не утолила жажды и не принесла облегчения. Пролежав немало времени на берегу, понял, что надо вернуться. Под солнцем на такой жаре долго не продержаться...

Путь от берега вверх оказался и вовсе мучительным, бомж прополз шагов десять и обессиленно распластался на песке. Дышать сделалось трудно, он задыхался и не мог понять, отчего. От солнца или, может, от жара внутри — казалось, внутри пылал раскаленный костер. Все же с огромным усилием он дополз до обрыва. Надо было еще взобраться на него — под сосны, в тень. Но как?

### 6

Немного полежав, он поднялся на четвереньки, затем на ноги, оперся грудью на край обрыва и не удержался. Ноги подломились, обрыв косо поехал в сторону, и он сполз наземь.

На следующую попытку он решился не скоро. Следовало понять, что с ним происходит. Пожалуй, не надо было ему ползти к реке, терять последние силы. Облегчения не добился, а положение свое ухудшил. Как и в жизни. Думаешь что-нибудь сделать как лучше, а получается наоборот — еще хуже. Заползти в свою нору? Но там со вчерашнего дня все обрушилось, намокло, укрытия не было. Неужели он не одолеет этот полутораметровый обрыв, обозлился бомж на свою внезапную немощь. Неужто он так ослаб?

Новая попытка также не принесла успеха — человек наваливался грудью на обрыв, шкрябая башмаками по усохшей, с корнями земле, а взобраться наверх не мог. И опять обессиленно оседал наземь. Но он неукротимо стремился в лес, под сосны, где, казалось, ждало его спасение...

После очередной попытки потерял сознание...

Придя в себя, не сразу понял, где он. Рядом была земляная стена обрыва, под ней лежала неширокая полоса тени, — солнце заходило за бор, и бомж ощутил прохладу. И тогда он вспомнил солдата: когда же вернется солдат? Хотя вряд ли вернется. Зачем ему возвращаться на погибель в эту проклятую зону? Пусть идет в белый свет, может, найдет где подходящее место. Напрасно он его здесь держал, успокаивал и утешал, надо было сразу прогнать. Отругать последними словами и прогнать дурака — куда лезешь! Так нет, посочувствовал и — погубил. Потому что вряд ли и он долго протянет, покаянно размышлял бомж. Теперь ему стало понятно, почему партийный инструктор сюда не поехал, только расхваливал зону. Никого она не закаляет — она всех губит. Но что без толку обижаться на инструктора, который, может, выполнял свой партийный долг — агитировал за то, к чему самого не притянешь веревкой. Эти люди всегда так делали.

Он стал свободным человеком — бомжом. Что он с того поимел, как распорядился своей свободой — иное дело. Его отец ни о какой свободе не имел понятия, всю жизнь вкалывал во имя процветания родины в Богом забытой сельской школке. А как умер, похоронить было некому. Хорошо неделю спустя соседка обнаружила мертвого. Сына, конечно, найти не могли, у покойника не было адреса, потому что сын не писал — не о чем было. Наверно, так же считали и остальные два сына, жившие неизвестно где и об отцовской смерти, возможно, до сих пор не узнавшие.

Нехороший он был по отношению к отцу, не лучший и к сыну, тому лобастенькому Дениске, которого некогда оставил в ракетном гарнизоне. Но если к родителю особенных сантиментов он никогда не испытывал, то за сына всегда болела душа: какой он? Где? Жив ли? Все собирался написать, съездить, но куда и на что? Да и бывшая жена, мать Дениски, разве могла ему ответить — та лишь домогалась от него алиментов. А Дениски, может, уже нет и в живых, может, погиб где-нибудь в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, в какой-нибудь из горячих точек. Да если откровенно, он страшился узнать горькую правду о сыне и жил, избегая какой-нибудь вести о нем. Ему навсегда хватило той горькой боли прощания, которую он испытал в памятный день своего отъезда.

Уехать был вынужден, рассчитывал сделать это тихо, в удобный момент, когда жены нет дома. Разведенные, они долго жили в одной квартире, в одной комнате и между ними — сынок, пятилетний Дениска. В тот день с утра жена отправилась в столовку, он, не очень трезвый после вчерашнего, побросал в сумку свое барахлишко, надел шинель со споротыми погонами. Дениска сразу приметил отцовские сборы и бросил игрушечный автомобильчик, с которым возился на полу. «Ты куда, папка?» — «Я скоро», — соврал отец, чтобы не будоражить сына. «Ты в магазин за шоколадкой? — допытывался мальчик. — Возьми и меня». — «Я не в магазин, я в другое место». — «Возьми и меня в другое место», — будто предчувствуя что-то, набивался сын и стал торопливо надевать курточку. Что было ему делать? Строго прикрикнуть не хватало решимости, но и взять его он не мог. «Оставайся дома», — не очень строго приказал отец, и Дениска заплакал. Детская душа, наверно, почувствовала скверное, обмануть ее было нельзя. А он тогда и не подумал, что больше им не увидеться. Выскочил за дверь и набросил на пробой клямку. Замыкать не стал, продел в пробой дужку замка. В комнате обиженно плакал Дениска. Этот плач звучал в его памяти все последующие годы. Иногда затихал, в другое время, внезапно возникнув из прошлого, звучал пронзительно до отчаяния.

Однако где же солдат? Почему не идет солдат?

Бомж уже готов был отказаться от своих великодушных мыслей — пусть солдат не возвращается, — теперь ему стало необходимо, чтобы он вернулся. Зачем? — не имел представления, вряд ли солдат мог чем-либо ему помочь. Но, может, принесет хотя бы глоток... Бомжу так хотелось глотнуть — чувствовал, сразу бы легче стало. Как легче было всегда, когда выпивал. Дурак он, что понадеялся, будто отвыкнет в зоне. От выпивки не отвыкают нигде...

Возможно, выпить — было самое лучшее в его безрадостной жизни, а от лучшего разве отказываются? Так жаль, что самые разумные мысли приходят непоправимо поздно.

Но где же солдат?

Непонятно почему, он снова попробовал взобраться на обрыв, обрушил с него пласт земли, и все неудачно. Для чего он туда карабкался — кто знает. Но такова была его неосознанная воля — куда-то карабкаться. Запоздавшая, зряшная воля. Как и все запоздавшее, она не могла быть удачной. И он свалился под обрыв. Наверно, спасения ему уже не было, и подсознательно он чувствовал это. Но какая-то добрая или злая сила влекла его туда, на обрыв, к их недавнему лежбищу. И тогда он понял, что это — финальный зов его жизни. Умереть надлежало на своем ложе, в родном углу, на своей земле...

Но где его родной угол? Никакого угла у него давно уже не было. А может, не было никогда. Родился в одном краю, жил в другом, умирать притащился в третий. Мать — сыра земля была его родиной и станет его могилой.

После очередной попытки взобраться и очередной неудачи он вдруг почувствовал, как огнем полыхнуло в груди. Чем-то соленым наполнился рот. Сплюнул в песок, чувствуя, как во рту опять набегает влага. Не сразу понял, что пошла кровь — кровь из горла. Это его испугало, но только в первый момент. Наверно, так оно и должно быть, все в порядке вещей. Предыдущее было лишь подготовкой именно к такому концу.

Он лежал на боку под обрывом и, не выплевывая кровавые сгустки, лишь повернув голову, ждал. Кровь плыла на песок, и крови было много. Он ждал, когда она вся иссякнет. Наверное, с ней иссякнет и жизнь.

Но, может, раньше придет солдат?..

Солдат был необходим ему — а для чего, он толком не знал. Что бы он поведал солдату? Вообще поведать он мог о многом, но сейчас не знал, о чем именно. О чем в первую очередь? Разве проститься. Не с ним, этим неудачником — парнем, которого скрутит та же самая радиация, что скрутила его. Наверно, для прощания с жизнью. Какая бы она ни была, хорошая или плохая, но то была жизнь. Лучше и хуже ее ничего не бывает на свете.

И все-таки он хотел дождаться солдата. Может, тот принесет... Хотя бы для прощания. А так...

Что значило это непонятное «а так», он уже не додумал. Его туманное, в провалах сознание угасало. Постепенно, трудно, будто из последних сил цепляясь за явь. Наконец угасло совсем...

Солдат нес картошку, он очень спешил. Небольшое ведерко отрывало руки, и он все перехватывал его за проволочную дужку — то в правую, то в левую руку. Неизвестно, или оно действительно стало таким тяжелым, или он очень ослаб в этой дороге? Время от времени останавливался под соснами, ставил ведерко наземь и недолго отдыхал, оглядываясь по сторонам. Но волка пока не видно было, волк за ним не бежал. Да и вряд ли он способен бежать, этот плешивый доходяга, успокаивал себя солдат. Но и человек терял силы, хотя и был молод. Он трудно дышал, весь взмок от пота, но бушлата не снимал. Снимал только шапку, когда отдыхал. Потом то надевал ее на потную голову, то снова клал на картошку в ведерко. И так и этак было тяжело и неудобно. Зимняя шапка мешала ему, но и бросать ее не хотелось. Неделю назад, когда возле реки он скинул шапку, бомж строго прикрикнул: «Надень!» — «Зачем?» — «Не знаешь, зачем?» — ответил бомж вопросом на вопрос. Солдат не знал, зачем, но шапку надел и больше ее не снимал. Может, шапка защищала голову?

Солнце уже склонилось над лесом и светило сбоку. Между сосен гуляли и переливались дымчатые отсветы косых лучей, полосатые тени стлались по мшистой земле; потрескивали сухие ветки под сапогами. Кое-где начали зацветать ягодники клюквы и брусники. Но ягод еще не было. Дождется ли он нынче ягод? — со щемящей грустью думал солдат.

Болото он обошел стороной, где-то остался и сухой рыжий лес. Продравшись сквозь чащобу мелколесья, вышел наконец к берегу речки. Отсюда уже недалеко до их стойбища, и он приспешил свой шаткий шаг. Хотелось как можно скорее...

Стежкой в ольшаниковых зарослях он вышел наконец на их бережок и удивился — бомжа нигде не было. Ни возле речки, ни на обрыве. Немного погодя он увидел его под обрывом и подумал, что бомж уснул. Но что-то его встревожило — слишком неестественна была поза спящего, — солдат бросил ведерко и побежал. Еще издали в глаза ему бросился сгусток крови на песке, потом заметил кровь на плече телогрейки. Понял, что кровь шла изо рта. Бомж был мертв.

На удивление себе, солдат не испугался. Ощутил даже брезгливость, потом удивление — зачем? Будто бомж так поступил с неким дурным намерением. Но тут же следом прорвалось чувство одиночества, покинутости. Он снова один. Сам с собой. Теперь весь картофель — его, вдруг не в лад с прежним настроением вспомнил солдат. И не надо делить остаток хлеба, который он приберег. Осторожно достав обкрошенный кусок из кармана, он тут же стал его есть. Хоть одна несомненная выгода от этой неожиданной смерти. Наверно, как на войне. Ветераны рассказывали, что чем меньше в роте оставалось живых, тем больше им доставалось пищи. Мертвые кормили живых... А выпить бомжу он так и не принес. И даже не спросил у деда. Было тягостно и печально...

После солдат сидел рядом с телом покойного, отдыхал и думал. Наверно, сперва надо притащить дров — на берегу после ливня их осталось немного... Устало поднявшись, он потащился в лес. Что-то собрал там поблизости и принес. Принялся разжигать костер. Он не умел пользоваться «катюшей» и посбивал пальцы, пока задымил лоскуток ткани. Далее также было не легче — от дымного лоскута зажечь клочок мха. Он все раздувал и раздувал его, пока не закружилась голова, словно у пьяного. Немного отдохнул и опять стал раздувать.

Может, спустя час или больше вчерашний костерок ожил — в вечернее небо над речкой потянулся сизый хвост дыма. Солдат торопливо подложил больше топлива. Будет гореть. Главное сделано — они добыли огонь. Будь жив бомж, это стало бы большой радостью. Теперь же радость сокращалась наполовину. Такова арифметика.

Пока разгорался костер, солдат подошел к покойнику. Что делать? Поесть картошки и мотать отсюда? А как же бомж? И мотать куда? Этот вопрос — куда? — словно проклятие, неотступно витал над ним. В него упирались все другие вопросы, и ни один из них не находил ответа. Может, ответов на них вообще не было? Не существовало в природе? — рассуждал солдат. Иначе бы он здесь не оказался, да и бомж тоже. Разные люди, они стали жертвами одной судьбы. Проклятая зона их уравняла.

Солнце совсем скрылось за бором. Весь лесной берег речки и ее луговая сторона с кустами потонули в тени, в которой мирно вился синеватый дымок костра. Безоблачное небо над лесом еще купалось в прощальном свете погожего дня. Наверно, там звучали счастливые гимны, которые не достигали земли. На земле воцарилась скорбь.

Наконец солдат закопал в угли десяток картофелин, старательно засыпал их пеплом. Пусть пекутся. А сам подошел к неподвижно скрюченному телу бомжа. Ни лопаты, ни даже большого ножа у него не было. Он взобрался на обрыв, выломал из орешника недлинную палку. Могилу лучше бы выкопать на обрыве, но там дерн и сосновые корни. Парень едва мог пошевелиться от усталости. И он стал копать в песке, под обрывом, рядом с телом покойника. Тут было легче, он ковырял палкой, горстями выбрасывал песок. Не скоро получилась ямка — неровная, мелкая, мало похожая на могилу. Нескладная могила, как и нескладная жизнь бомжа. Какова жизнь, таковы и похороны, иначе не бывает. Так заведено в мире, что на похороны приходят люди, много людей. А вот ему пришлось хоронить — одному.

Но будет ли кому похоронить его самого?

Он не хотел жить неправильно — хотел справедливо, по совести. Получилось наоборот. Так что же, ему теперь пропадать в его девятнадцать лет? Нет, он хотел жить. Хоть как-нибудь... Но, по-видимому, и как-нибудь не получится...

Задумавшись, он не заметил, как рядом появилась птичка, маленькая, вертлявая трясогузка с длинным хвостиком. Невесть откуда взявшись, она беззаботно прыгала по песку. Что-то там склюнула, оглянулась на одинокого человека возле костра и вроде коротко пискнула.

— Плисочка! — прошептал он с неожиданной нежностью, сразу вспомнив слово, каким в бабушкиной деревне называли этих птичек. Но плиска тотчас вспорхнула и стремительно скрылась над речкой. Зачем она здесь, по чью душу? — встревожился солдат, растроганный неожиданным появлением пичужки.

Тем временем, наверно, испеклась картошка.

Солдат выгреб из костра крайнюю картофелину, слегка отер ее о штаны и осторожно откусил. Но проглотить почему-то не смог — спазм перехватил горло. Погодя он попытался еще раз, но и вторая попытка оказалась напрасной. Наверно, что-то случилось с его горлом или желудком, перестали принимать пищу. Ощутил сильные позывы тошноты и не на шутку испугался. Сколько затем ни пытался, проглотить ни крошки не смог. А вскоре утратил и способность жевать. Началась жестокая рвота, казалось, будто выворачивает желудок и все внутренности. Низко склонившись, он сидел возле костра, потеряв интерес к картошке. Ждал, когда окончатся его муки. Но муки, похоже, только усиливались.

Так прошло немало времени, начал догорать костер. В темени наступившей ночи поодаль тускло блестело водяное пятно излучины. Рядом, слабо освещенное остатками огня, неподвижно лежало тело бомжа. Надо было подложить сушняка в огонь, но стало не до того. Солдату был безразличен огонь, которого еще недавно так домогался.

Однако, чуть совладав с немощью, он встал, поднял отяжелевшее тело покойника и свалил его в яму. Засыпать уже не успел — опять подкатила тошнота. Он лег рядом с ямой и впервые не испугался — умереть, может, было бы и лучше. Медленно затухал костерок, по краям пепелища в темноте еще шевелились-мелькали мелкие искорки. Потом и они угасли.

Очнулся глубокой ночью — ему становилось хуже. Только успел подняться на остывшем песке, как опять содрогнулся от рвоты. Рвать давно уже было нечем, но мучительные позывы тошноты продолжали сотрясать тело. Временами он то приподнимался на песке, то снова падал, лежал. Когда судороги ненадолго прекращались, вроде забывался, чтобы вскоре пробудиться снова и снова надрываться во рвоте. Казалось, уже давно опустел желудок, а нестерпимая горечь не переставая рвалась из горла. Он думал, что лучше умереть, чем так мучиться.

Под утро немного уснул...

Проснулся, когда рассвело, сел. Рвота вроде унялась, стало полегче. Посидев, принялся вытирать испачканный рвотой подбородок, бушлат. И тогда на пальцах обнаружил кровь, — как и вчера у бомжа. Из его рта шла кровь. Значит, и его судьба решена...

Но что делать? Он не хотел умирать...

Солдат поднялся и, шатаясь, побрел прочь. Ему надо было добраться до брода.

Наверно, новая цель прибавила сил. Шатко и неуверенно он одолел немалый отрезок пути по лесу. Но и выдохся окончательно, упал среди рябинового молодняка, долго лежал. Сознание его невнятно мерцало в тумане реальности, временами он уже не помнил, кто он и где он. Но все-таки заставил себя встать и идти. Ему надо было добраться до брода. Оттуда было недалеко до гравийки-шоссе...

— Лю-ю-ди, лю-ю-ди! — напрягался он в крике, но с его высохших губ слетал только шепот. Никто нигде не откликался, да никого поблизости и не было. Не было даже волка. В какую-то минуту он вспомнил вчерашнего доходягу... Где ты, волча, брат по несчастью? Или уже дошел?.. Наверно, как и все прочие надежды, и эта развеялась дымом...

Начала донимать жажда. Но река и болото остались позади, в бору воды не было. Он понимал это и терпел. Он шел. От дерева к дереву, от сосны к сосне. Однако все отчетливее понимал — не дойдет.

Неужели не дойдет в самом деле? Ему же только девятнадцать лет... Отчаяние придало парню силы. Шатко протопав десяток шагов, падал навзничь, лежал. Как же так получилось, почему? — мучил неотвязный вопрос. Вопрос без ответа. Кто погубил его молодость, а с ней и всю жизнь? А может, все предопределено судьбой и никто здесь не повинен...

Поднимаясь, он бросал короткие взгляды по сторонам — в надежде кого-либо увидеть. Крикнуть. Но людей не было. Не было и волка. Он остался совершенно один в этом торжественно страшном лесу.

Стало почему-то темно. Может, наступила ночь? Значит, он так и не дошел до спасительного брода, не выбрался из ямы. Темень навалилась на лес, на солдата, и он уже не помнил, в какую сторону идти. И идти ли вообще? Сил у него не осталось даже на то, чтобы подняться...

*1999*